

**Военные
Приключения**

ЗАГОВОРЩИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ



НИК. ШПАНОВ

Поджигатели

Николай Шпанов

Заговорщики. Преступление

«ВЕЧЕ»

1951

Шпанов Н. Н.

Заговорщики. Преступление / Н. Н. Шпанов — «ВЕЧЕ»,
1951 — (Поджигатели)

ISBN 978-5-4444-8926-0

Конец 1930-х годов... Ликвидация чехословацкого государства и образование вместо него плацдарма для развертывания немецко-фашистских армий вблизи границ Советского Союза; удушение Испанской республики; создание вместо нее франкистской станции для снабжения германо-итальянской военной машины американскими военными материалами, стратегическим сырьем и нефтепродуктами на случай большой войны; разгром Польши – все это окрыляло заговорщиков против мира, сидящих в министерских и банковских кабинетах Лондона, Парижа, Вашингтона, Нью-Йорка. Широко известный роман автора многих советских бестселлеров, которыми зачитывалось не одно поколение любителей остросюжетной литературы.

ISBN 978-5-4444-8926-0

© Шпанов Н. Н., 1951

© ВЕЧЕ, 1951

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	18
Глава 4	26
Глава 5	33
Глава 6	37
Глава 7	45
Глава 8	50
Глава 9	56
Глава 10	61
Глава 11	68
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Ник. Шпанов
Заговорщики. Преступление

© Оформление. ООО «Издательство «Вече», 2014

* * *

Часть первая

...говорят, Америка ведущая страна. Безусловно, но только в каком отношении? По количеству преступлений!

Теодор Драйзер

Глава 1

Было десять минут седьмого, когда негры-рассыльные обошли служебные комнаты Белого дома.

– Он ушел!

Это лаконическое сообщение означало, что президент покинул свой кабинет и кресло на колесах перенесло его на личную половину Белого дома. Вероятно, время, оставшееся до обеда, Рузвельт проведет с сыновьями в бассейне для плавания. Будет плавать, возмещающая вынужденную неподвижность на земле. Он держится на воде как рыба и наверняка станет шалить, окуная в воду кого-нибудь из сыновей или подвернувшегося под веселую руку гостя. Отдохнув после обеда, он засядет за свою коллекцию марок или займется распаковкой пришедшей сегодня из Англии посылки с новыми моделями кораблей.

Впрочем, мало кого из чиновников интересовало времяпровождение президента. Услышав знакомый возглас рассыльного, каждый спешил сложить папки и поскорее покинуть стены Белого дома.

С уходом президента деловая жизнь в Белом доме прекращалась.

Она не замирала только в том крыле, где были расположены кабинеты ближайших сотрудников Рузвельта – адъютантов и советников.

В одном из этих кабинетов советник президента Гарри Гопкинс продолжал начавшийся часа два тому назад разговор с главным адвокатом Джона Рокфеллера Младшего. Адвокат был сухощавый сорокапятiletний мужчина с хищным лицом. Такое выражение на лицах американских дельцов вырабатывается годами беспощадной биржевой войны, волчьими законами «делового мира», крючкотворством многолетних тяжб. Тщательно подвитые, торчащие кверху усы а-ля Вильгельм II придавали адвокату еще более неприветливый, заносчивый вид.

Звали этого человека Дин Гудерхем Ачес.

Хотя мистер Ачес и назывался адвокатом Рокфеллера, но по характеру деятельности и широте предоставленных ему полномочий правильнее было бы именовать его министром иностранных дел и юстиции нефтяного короля Соединенных Штатов. Дин Ачес нередко представлял своего патрона, являясь подчас чем-то вроде его второго «я». Это происходило в тех случаях, когда нужно было провести какое-нибудь особенно сложное и грязное дело.

Бывали у Рокфеллера и такие дела, от которых больше пахло кровью, чем нефтью. Обильно разбавленное кровью южноамериканцев, арабов или малайцев «черное золото» нефтяного монарха стало бы багровым, если бы не тонкий адвокатский фильтр. Кровь и грязь оседали в душе Ачеса.

Дин Ачес представлял особу своего доверителя и там, где нужно было найти обходные, неофициальные пути для переговоров с высокопоставленными чиновниками правительственного аппарата, министрами или конгрессменами.

Наконец, Ачес служил связующим звеном между мистером Рокфеллером и ближайшим окружением президента. Такая связь нередко оказывалась нужной для того, чтобы договориться с Белым домом о политическом курсе или об отдельных мероприятиях правительства Штатов, затрагивающих интересы монополистической группы Рокфеллера.

Дом Морганов, приведший к власти Франклина Рузвельта, мог послать доверенного прямо в Белый дом и в форме деликатнейшего совета продиктовать свою непреклонную волю. Ванденгейм, хотя и не был в числе официальных друзей и сторонников Рузвельта и даже состоял в рядах соперничающей с демократами республиканской партии, но он просто, без церемоний ломился к тому из советников президента, который казался ему подходящим для проведения той или иной комбинации. Положение же Рокфеллера не позволяло ему ни того ни другого. Он не мог опуститься до разговоров с каким-нибудь советником или даже подчас министром. Он не мог и прямо прийти к президенту, рискуя не найти удовлетворительного решения интересовавших его вопросов. Такой исход встречи означал бы войну. А война далеко не всегда была выгоднейшим способом достижения цели.

Нынешняя ситуация была особенно трудной. Предстоявшие в будущем году президентские выборы совпали с большими осложнениями в Европе и в Азии. Необходимо было заблаговременно поставить все точки над «и», обусловить такой внешнеполитический курс Штатов, при котором интересы Рокфеллера не могли бы потерпеть ущерба от политики правительства, ведущейся в угоду интересам Морганов.

Гопкинс предпочел бы избежать и этого разговора, и свидания с Ачесом вообще. Но, учитывая интересы Рузвельта, он не мог позволить себе отклонить настойчивое требование Ачеса встретиться, и притом безотлагательно.

С первых же слов Ачеса Гопкинс понял, что тот явился не для прощупывания почвы, а ради того, чтобы при его, Гопкинса, посредстве довести до сведения Рузвельта условия, на которых нефть, уран и стратегическое сырье Рокфеллера готовы не противопоставлять себя банкам и промышленности Морганов в борьбе за создание мировой империи США. А только под таким знаменем мог прийти к власти новый президент. Если Франклин Рузвельт способен впредь согласовать противоречивые интересы Рокфеллера и Морганов на пути к этой общей цели, не исключено, что он пройдет на третий срок своего президентства. То, что подобное третье избрание противоречит всем традициям Штатов, не играет никакой роли. Для хозяев страны существует одна традиция – их выгода.

Беседа велась без свидетелей. Дин Ачес не стеснялся циничной ясности мыслей и слов.

– ...Рузвельт не имеет права допускать, чтобы Морган ставил под угрозу миллиарды, вложенные Рокфеллером в Германию, – говорил Ачес. – Вы обязаны убедить президента: эти миллиарды – вожжи, при помощи которых Америка управляет колесницей Гитлера!

– Не Америка управляет Гитлером, а Рокфеллер, – возразил Гопкинс. – Это не одно и то же.

– По-вашему, конечно, синонимом Америки является Морган?

– Я не адвокат Морганов.

– Но любой уличный мальчишка знает, при помощи чьих денег вы пришли в Белый дом.

– Я никому не стоил ни цента.

– Не наивничайте.

– Вы называете наивностью нежелание дать Рокфеллеру бесконтрольное право командовать Гитлером? По-вашему, пусть лопает Польшу, пусть лопает Россию, пусть лопает всех, кого хочет слопать...

При последних словах Гопкинса Ачес сердито крикнул, перебив его:

– Да, да, да! Пусть лопает все, что не станет ему поперек глотки. Лишь бы не поперхнулся и только бы от этого была польза нашему делу.

– Какие там «наши» дела!

– Мы с вами не дети, Гарри. Я битых два часа пытаюсь вам втолковать с цифрами в руках, что преуспевание Рокфеллера – преуспевание Штатов.

– Право Рокфеллера пустить ко дну всех других – в этом вы видите главную пользу Штатов? – спокойно возразил Гопкинс. – ФДР не мальчик. Он отлично понимает, что в наше время

игра на внутренних противоречиях опасна, она просто преступна. Можете сколько угодно грызться, но там, где дело выходит за пределы Штатов, идти нужно вместе.

– Может быть, именно поэтому Морган и толкает Гитлера на Ближний Восток? По-вашему, предлагать Гитлеру британскую нефть – это честная игра? – Тут Ачес внезапно умолк и рассмеялся. – Умоляю вас, не стройте такой мины. Я не из тех пижонов, Гарри, которые способны принять вашу наивность за чистую монету. Мы ведь знаем все: вы продаете Моргану Рур. На выполнение этой задачи вы поставили весь государственный департамент. Не пройдет! Если хотите честной игры, не держите кулак за пазухой. Руки на стол, господа!

– Отлично! – воскликнул Гопкинс и тут же поморщился от боли, которую причинил ему этот резкий возглас. – Руки на стол! Это наш принцип. Попробуйте же втолковать своему боссу: теперь дело идет об обеспечении подобающего места и ведущей роли во всем мире для Штатов, для Штатов, а не для одного вашего хозяина, понимаете? Вот о чем идет речь, а не о каких-то провинциальных интригах в Венесуэле; действовать нужно только осмотрительно, согласованно, взвесив все «за» и «против», не бросаться в авантюры очертя голову и не ставить себя в зависимое положение к такому разбойнику, как Гитлер.

– Что из этого следует?

– А то, что ваш хозяин должен умерить свои авансы нацистской шайке... Понимаете?

– Потому что Морган считает себя главным ее покровителем? – с усмешкой проговорил Ачес. – Каштаны Моргана – ему одному?.. Так, так...

– Ну его к дьяволу, Моргана! – огрызнулся Гопкинс. – Вы два часа препираетесь со мной, как старая прачка. Будьте же мужчиной: речь идет о чем-то неизмеримо большем, чем нефтяные источники всего мира.

– Что может быть важнее недр: нефть, сырье, уран...

– Уран? – Гопкинс подозрительно покосился на собеседника.

– Лечение рака и все такое... Мы друзья человечества, а не враги его, – не растерявшись, ответил адвокат.

Но Гопкинса нелегко было провести. Он не верил в филантропию Рокфеллера. Если Рокфеллер заинтересовался ураном, значит, пронюхал кое-что о деле, которое Гопкинс считал своим собственным секретом. Но Гарри понимал, что расспрашивать Ачеса бесполезно. Лучше пропустить это сейчас мимо ушей. Еще будет время выяснить, как могло попасть в лапы Рокфеллера дело, о котором знали только двое-трое ученых да сам Гарри. Он вернулся к прерванному разговору:

– Послушайте, Дин, если вы поймете, что Морган и другие имеют право на свою долю в Европе, то ваши интересы там тоже только расширятся. Одно цепляется за другое.

– В том смысле, что Морган пытается выкинуть нас с поля банковской деятельности в Европе? Да тут все цепляются друг за друга.

– Я хочу сказать: мы не можем позволить втянуть нас теперь в войну в Европе только потому, что это угодно Рокфеллеру.

– Мы же не мешаем развязывать войну, где кому вздумается, так пусть и «другие» нам не мешают.

– Мало не мешать, Дин, – злась, но не теряя выдержки, проговорил Гопкинс. – Необходимо действовать вместе. Понимаете: сообща... Честное слово, можно подумать, что вы даже в школе никогда не участвовали в драке заодно с другими.

– Я действительно предпочитал драться в одиночку.

– Ну, теперь другие времена. Этак многого не добьешься.

– Мы никогда не отказывались от разумных планов, готовы действовать сообща, – тоном примирения проговорил Ачес, но тут же поспешно прибавил: – Если нас не пытаются оставить в дураках.

– Ну, Дин, с такими малыми, как вы, Рокфеллер, кажется, может не бояться, а?

Гопкинс, в волнении ходивший по кабинету, устало опустился в кресло.

– Поскольку речь идет не о какой-нибудь южноамериканской республичке, а о мире, Дин, о целом мире, то нельзя лезть в это дело очертя голову. Только овладев всем, вы сможете поделить между собою и все сокровища. Иначе рискуете остаться и без мира и без его сокровищ. Понимаете?

– Я-то все понимаю, но мне сдается, что не все понимаете вы, Гарри.

– Например?

– Вы не понимаете, что не выборы президента, а ситуация в Европе – вот главное на сегодня.

– В этом мы сходимся. Я только не соглашусь с тем, что одно не связано с другим. На черта вам будет выгодная ситуация в Европе, над созданием которой мы столько потеем, если в Штатах не станет умного человека, способного ее использовать. А такой человек у нас один.

– Мы бросили бы свою гирю на его чашу, если бы были уверены...

Ачес, не договорив, вопросительно уставился на Гопкинса. Тот неохотно спросил:

– Вы хотите, чтобы я поговорил с ним?

– Да.

– Поговорю.

– Не откладывая.

– Да.

– И откровенно.

– Он чертовски щепетилен.

– Нам миндальничать некогда.

– Грубостью у него можно провалить все дело.

– Тогда мы будем знать, что делать.

– Пояснее, Дин.

– Мы бросим гирю на другую чашу выборных весов.

– При нынешнем настроении американцев это не решит дела в вашу пользу. Американцы за Рузвельта.

– Тогда напомните ему, что американские президенты не бессмертны! – угрожающе выпалил Ачес.

Гопкинс приподнялся было в кресле с гневно сжатыми кулаками, но тут же в бессилии упал обратно. Задышавшись, проговорил:

– Ваше счастье, что мы одни...

– Я же адвокат, Гарри, – с недоброй усмешкой заметил Ачес.

– Ваше счастье...

– Хорошо, можете не напоминать об этом ФДР, достаточно того, что вы будете помнить о судьбе Гоу. – И прежде чем успел прийти в себя ошеломленный Гопкинс, Ачес поспешно предложил: – Вернемся к делу?

Гопкинс пробормотал что-то невнятное.

– Вы должны сказать президенту, – продолжал Ачес, – что, по нашему мнению, главенство в мире обеспечено той державе, которая господствует в Тихом океане.

– Это ему понравится.

– Тем скорее он поймет, что все разговоры о независимости Филиппин нужно оставить. То есть болтать-то можно что угодно, но мысль о самостоятельности островов – бред. Филиппины – ключ. Владея им, мы владеем Тихим океаном. Океан требует флота. Мы за флот.

– Это ему тоже понравится.

– Тем лучше. Мы за то, чтобы корабли понесли американский флаг туда, где сейчас ползутся вылинявшие тряпки святого Георга.

– И это ему понравится, – монотонно ответил Гопкинс.

– Тем лучше. С американским флагом укрепятся и американские порядки. От этого не станет хуже и вашему Моргану. Дальше: океан – путь на Восток, Восток – это Китай.

– И Япония, – поправил Гопкинс.

– О джапах – отдельно. Сначала Китай: дать там по рукам англичанам.

– Хозяин будет в восторге.

– Тем лучше. Англичанам должны дать тумака джапы.

Гопкинс рассмеялся.

– Для этого джапам понадобится усиление армии и флота. Усиление армии – стратегическое сырье. Стратегическое сырье – Рокфеллер. Готовый флот требует нефти. Нефть – тоже Рокфеллер...

– Мы с вами – не дети, Гарри. В конце концов мы готовы со своей стороны сделать все, чтобы запах нефти не казался вам таким отвратительным. Мы ценим ваш ум, вашу энергию, ваши связи...

– Оставьте в покое мой ум и мои связи, – раздраженно произнес Гопкинс. – Они уже оплачиваются.

– Морганом?

– Нет, президентом.

– За счет Моргана.

– Нет, за счет федерального казначейства.

– Значит, и за наш счет.

– Безусловно.

– Вы циник, Гарри. Тем лучше: мы можем повысить ставку. Это не значит, что вы должны отказаться от денег Моргана, то есть я хотел сказать: от денег казначейства.

– К делу, Дин!

– Я хотел бы, чтобы за те деньги, которые вам платит федеральное казначейство из нашей доли налогов, вы внушили Тридцать второму...

– Я не гипнотизер.

– Тогда просто расскажите ему: чем дальше джапы влезут в Китай, тем лучше. Двоякая выгода, Гарри: слабеет Китай, слабеет и Япония.

– И усиливаются позиции России в Азии.

– Ни в коем случае! До этого дело не должно дойти. Чтобы этого не случилось, ослабленным Японией и Китаю понадобится допинг. Допинг – это...

– Опять сырье и нефть Рокфеллера.

– И кредиты банков Моргана.

– Разумно.

– Если в Китае произойдет что-нибудь подобное инциденту с «Пенеем», надо еще раз проглотить пилюлю, хотя она и довольно горькая.

– Это не понравится хозяину.

– Тем хуже! В большой игре не стоит обращать внимания на булавочные уколы.

– Президент заботится о достоинстве звезд и полос.

– Значит, ему должно понравиться: пусть японцы потопят сегодня еще пять американских «Пенеев», чтобы укрепить нашу возможность завтра пустить ко дну весь японский флот.

Гопкинс в сомнении покачал головой:

– ФДР может ответить: я хочу потопить японский флот, не потеряв ни одной канонерской лодки.

– А вы скажете ему, что в наших интересах потерять пять, десять, даже пятьдесят канонерок. Чем больше, тем лучше... для Моргана.

– А для вас?

– Мы большие альтруисты, Гарри.

– Вам прямая дорога в монахи, Дин.
– Я и то собираюсь.
– Как было бы хорошо!
– Вам?
– Я был бы избавлен от разговоров с вами.
– В сутане иезуита я допек бы вас вдвойне. Сейчас я дьявольски сдержан... Но вернемся к делу. По японским следам мы должны пробраться в Синьцзян и Индонезию...
– Уже и в Индонезию? – с деланным удивлением спросил Гопкинс.
– Рано или поздно джапы должны разинуть на нее пасть. Пусть разевают. Потом придем туда мы.

– Что там есть, кроме нефти?
– Все, что нужно нам и Моргану.
– Дальше.
– Упаси бог Тридцать второго повторять ошибки его предшественников. Тафт и Теодор Рузвельт были крикливыми крохоборами. Они наделали кучу ошибок. Нам приходится их исправлять. В наше время требовать часть – значит не получить ничего. «Требуйте всё, чтобы получить что-нибудь», – сказал Христос.

Гопкинс покачал головой:

– Если бы Иисус был жив, он привлек бы вас за клевету.

Ачес со смехом ответил:

– Не беда. Всякий американский судья оправдал бы нас: это единственно здравая позиция. Изречение должно войти в американское издание Евангелия.

– Ладно, сойдемся на том, что «формула Христа» не противоречит нашим интересам, – согласился Гопкинс.

– Тем лучше... Было бы опасно повторить ошибку Вильсона в отношении России. Нужно не приглашать батальон гангстеров к участию в дележе России, а взять ее себе целиком – вот единственно здравая и приемлемая для нас схема.

– А как же Гитлер?

– Взломщик! – безапелляционно заявил Ачес. – Тип для грязной работы. Повесим, как только откроет нам ворота России.

– Это едва ли понравится хозяину.

– То, что Гитлер прикончит Россию, или то, что мы его повесим? – спросил Ачес.

Гопкинс уклонился от прямого ответа. Только сказал:

– ФДР не выносит ефрейтора и боится коммунистов.

Ачес поднялся с кресла.

– Мы можем быть уверены, что эти предварительные соображения будут переданы ФДР?

– Да.

Голос адвоката сделался вкрадчивым:

– Гарри, дружище, а вы не могли бы устроить мне свидание с ним, чтобы я сам мог внести полную ясность?

Гопкинс демонстративно смерил Ачеса взглядом с ног до головы и с наслаждением проговорил:

– Не выйдет! ФДР дьявольски чистоплотен. – Заметив, как густо покраснел Ачес и задрожали кончики его усов, Гопкинс смягчил тон: – Если вас не устраивает откровенность, могу привести вполне официальную причину отказа: на днях мы отправляемся в небольшую предвыборную экскурсию на юго-запад. Оттуда прямо в Уорм-Спрингс. Вот!.. Вы не обиделись, Дин?

Ачес презрительно выпятил губы.

– Дорогой Гарри, на вас?..

И, не прощаясь, вышел из комнаты.

Глава 2

Пятна последнего снега еще смутно белели кое-где у корней деревьев. Пар от просыхающей земли заволакивал лес прозрачной дымкой. Было знобко.

Руппу казалось, что Клара иногда вздрагивает, и ему было неловко, – будто в этом был виноват он. А, пожалуй, Рупп и был немного виноват: кто же, как не он, затеял эту беседу с функционерами-подпольщиками? Кто дал ему право пригласить сюда вдову Франца? Разве сам он не мог провести это собрание? Ему казалось, что передача директивы, пришедшей из тюрьмы, от самого Тельмана, – такое многозначительное событие! Хотелось, чтобы товарищи услышали слова вождя из уст старого партийца – Клары, лично знавшей Тельмана. Она работала с ним, наконец, она была вдовой и сподвижницей такого человека, как Франц Лемке...

Все, что говорила Клара, звучало особенно многозначительно. Молодежь, – а все пятеро пришедших на беседу в лесу были молоды, – слушала, затаив дыхание.

Рупп уже был знаком с директивой Тельмана. Он больше смотрел на Клару, чем слушал ее. Вглядывался в ее исхудавшее лицо и думал о Лемке. С сыновней нежностью мысленно гладил ее уже совсем-совсем седые волосы.

Клара говорила негромко. Так, чтобы только было слышно пяти близко подсевшим к ней товарищам. Подробно обрисовав политическое положение, создавшееся внутри Германии и за ее пределами в результате гитлеровской политики развязывания войны, Клара решила перейти к теме, ради которой они тут и сошлись, – к разъяснению лаконичной записки, полученной от Тельмана подпольем компартии.

– Товарищ Эрнст Тельман, – проговорила она, и при этих словах все пятеро ее слушателей поднялись и сняли фуражки. Клара тоже встала и, прикрыв рукою задрожавшие веки, несколько мгновений помолчала. – Товарищ Тельман, – продолжала она, – вынужден быть лаконичным. В своей записке он говорит: «Политическое положение угрожающе для германского народа, для будущего Германии. Нужна мобилизация сил партии на разъяснение немцам необходимости всеми средствами бороться с агрессией Гитлера. Эта агрессия приведет к потере Германией национальной самостоятельности. За спиной Гитлера стоят иностранные подстрекатели. Гитлер действует на американские деньги. Внимание в сторону Америки. Проработайте статью Сталина “К международному положению”, примерно 24–25-й годы. Сделайте выводы. Очень важно. Да здравствует германский народ! Слава нашей партии! Тельман».

Волнение, охватившее Клару при чтении этой уже знакомой записки, заставило ее снова сделать паузу.

– Товарищи, вы получили от него, – Клара указала на Руппа, не называя его по имени, – текст статьи, о которой идет речь, и наш комментарий. Вчитайтесь внимательно. Нет лучшего учителя, чем история. Нет лучших уроков для народа, чем анализ истории, даваемый Лениным и Сталиным... Быть может, надолго, на срок, который мы едва можем охватить взглядом, немецкому народу дан последний шанс прийти в себя, отогнать от себя кровавый туман фашистской лжи, сделать последнее большое усилие, чтобы свернуть с пути, на который его влекут безумцы и палачи, – с пути к плахе на путь к свободе и прогрессу...

Сумерки сгущались. Тени деревьев уже не рассекали полосами влажную землю. Сумрак сомкнул все силуэты. Рупп тревожно озирался. Тихонько, так, чтобы не помешать Кларе, он поднялся и пошел на опушку. Трудно было предположить, что полиция может пронюхать о собрании, но осторожность оставалась осторожностью: Рупп решил оставаться на опушке, пока не закончится беседа. Ему не был слышен голос Клары. Поэтому он не мог понять, почему она говорит так долго. А Клара с увлечением рассказывала молодым товарищам о том, что они должны разъяснить каждому немцу. Она говорила, что гитлеризм превосходит своей звериной дикостью и средневековой жестокостью все виды реакции, какие знала до тех пор история

Германии. Но появление гитлеризма вовсе не было необъяснимым наваждением, плодом внезапного затмения сознания целого народа, околдованного кликушеством какого-то маньяка. Фашизм никогда не смог бы достичь такой власти в Германии, если бы не пришел в результате длинной цепи побед реакции над умом и волей немецкого народа.

Реакция брала верх над революцией во все решающие моменты германской истории. Революционный подъем народа ни разу не дал решающей победы. Всякий раз народ подпадал под влияние реакции и шел к катастрофе. Теперь, на великом историческом распутье, немецкий народ должен окинуть трезвым взглядом весь пройденный путь и понять всю гибельность своих ошибок. Немцы должны отказаться от ведущих в тупик философских абстракций Канта и Гегеля.

Нужно понять, что вся философия была поставлена с головы на ноги гигантами революционной мысли Марксом и Энгельсом. Это они создали немецкую революционную философию, они начали борьбу за революционно-демократическое объединение германской нации, за освобождение трудящихся от невыносимого гнета эксплуатации. Всякий немец должен отдать себе отчет в величайших революционных заслугах Маркса и Энгельса. Они начали борьбу за истинную свободу Германии, за прогресс и культуру немецкого народа, за создание подлинно народной Германии в лучшем смысле этого слова; они были зачинателями революционной борьбы за уничтожение «германской империи прусской нации».

Реакционные традиции немецкого общества не могли не оказать пагубного воздействия и на рабочий класс Германии. От Лассалья ведет свою родословную пресловутый немецкий «национальный социализм». Немецкие реформисты не случайно ухватились за Лассалья и сделали его своим идеологом.

Правые социал-демократы Германии повинны в том, что германскому империализму долго удавалось разыгрывать из себя невинного простачка – прямодушного, честного и трудолюбивого, якобы по вине империалистов других наций оказавшегося обделенным при разделе мира. Это правые социал-демократы повинны в том, что немецкий народ принимал за чистую монету шовинистическую пропаганду империалистов, выступавших в тоге борцов за права обделенного историей германского народа. Ни история, ни народ Германии были тут ни при чем. Речь шла о немецких капиталистах, опоздавших к дележу. Обманом и силой, при помощи правых социал-демократов – изменников делу рабочего класса, германским империалистам удалось погнать немецкий народ на бойню войны 1914–1918 годов. Они рассчитывали вырвать кусок из пасти французского, британского и американского империализма. Эта попытка окончилась для них провалом. Были пролиты реки крови, были пущены на ветер миллиарды марок, а своей цели империалисты не добились. Но немецкий народ мог бы использовать это крушение реакции для завоевания себе свободы, для нанесения германскому империализму смертельного удара и для его уничтожения. Однако и на этот раз немецкие социал-предатели сыграли позорную и трагическую роль в судьбе Германии. Они помогли реакции снова взять судьбу страны и народа в свои руки. При попустительстве и при помощи все тех же социал-демократов буржуазия смогла призвать себе на помощь фашизм.

– Из материалов, которые вы сегодня получили, – сказала Клара, – вы увидите, что фашизм не только военно-техническая категория. Фашизм – это боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-предателей. По существу, правые лидеры социал-демократии представляют собою умеренное крыло фашизма. Нет основания предположить, что фашизм добьется решающего успеха без активной поддержки социал-демократии. Эти организации не отрицают, а дополняют друг друга. Фашизм есть не оформленный, но фактически существующий и действующий политический блок этих двух организаций, возникший в обстановке послевоенного кризиса капитализма. Этот блок рассчитан на борьбу с пролетарской революцией. Буржуазия не может удержаться у власти без наличия такого блока. Поэтому...

Клара не успела досказать. Из темноты вынырнул Рупп:

– Полицейская цепь движется от деревни!..

Его слова услышали все, но никто не шевельнулся. Клара спокойно проговорила:

– Ну что же, товарищи, расстанемся до следующего раза. Повторяю: долг коммунистов – объяснить народу, что война с Советским Союзом, которую стремятся развязать гитлеровцы, антинародная война... Расходитесь по одному. Если кто-нибудь увидит, что ему не избежать встречи с полицией, уничтожьте материал... До свидания, товарищи.

– А... вы? – спросил кто-то из товарищей.

Клара улыбнулась:

– Я тут как дома. Это мой район... Идите.

Товарищи быстро исчезли в сумраке леса. Один Рупп стоял в нерешительности.

– Не теряй времени, – ласково сказала Клара.

– Да, конечно... – без всякой уверенности, но стараясь казаться спокойным, ответил Рупп. – Куда я должен идти?

– Ты не знаешь дороги? – В ее голосе прозвучало беспокойство.

– Я впервые в этой местности. Только покажите мне направление.

Клара вместо ответа жестом приказала ему следовать за собою и быстро зашагала по лесу как человек, хорошо знающий местность. Но ее учащенное дыхание, голос, немного дрожащий, когда она задавала Руппу вопросы, – все говорило об ее волнении. Такой Рупп видел ее впервые. И снова в нем поднялось сознание виновности в том, что она здесь, что она вынуждена теперь бежать от полиции да вдобавок еще спасать его. Ему было невыносимо стыдно.

Он не мог решить, что лучше: оставаться с нею, чтобы защитить в случае надобности, или уйти. Если бы он только знал, что так будет лучше, он готов был тотчас же отстать, броситься в сторону, в темную чащу. Но тут же он понял, что это еще больше затруднит Клару – она ни за что не бросит его. И он послушно шел за нею, едва различая в темноте ее седую голову. А Клара двигалась все быстрее и, наконец, побежала.

Деревья становились реже. В просвете мелькнул огонек. Клара остановилась, тяжело переводя дыхание.

– Ты останешься здесь... – Она сделала несколько шагов в одну сторону, в другую, что-то разыскивая. – Ложись в эту яму. Тут тебя не найдут. Никуда не двигайся. К тебе придут... Пароль: «Ты немец, Франц?» Твой отзыв: «Как и всякий другой».

Рупп почувствовал на своих щеках прикосновение ее дрожащих ладоней. Они были большие, загрубевшие от работы, но такие ласковые и теплые.

Клара нагнула его голову и поцеловала в лоб.

Прежде чем Рупп опомнился, ее шаги уже замерли на опушке. Он сделал было шаг вслед, хотел во что бы то ни стало увидеть хотя бы ее тень, но тьма леса была непроницаема. Он остановился. Ощупью нашел укрытие, о котором говорила Клара. Это была довольно глубокая яма, по бокам которой торчали корни деревьев. Рупп залез в нее. Сырая земля, осыпавшись с края, попала за воротник куртки.

Рупп не сразу почувствовал, как холодна земля, однако чем дальше, тем крепче его пробирал озноб. Вокруг было подавляюще тихо. Лишь где-то далеко раздавался лай. Но это был не озлобленный рык полицейской овчарки, а мирный брех деревенской собаки.

Рупп с трудом заставлял себя подчиниться стоявшим в ушах словам Клары: «Никуда не двигайся...» Ослушался ли бы он, если бы это сказал ему Лемке? Никогда! Значит, и сейчас он должен был сидеть тут, хотя зубы его временами непроизвольно отбивали дробь от пробиравшегося в кости озноба.

Рупп пробовал заснуть, но это не удавалось. Земля казалась ледяной. Сырость пропитала всю одежду. Чтобы заставить себя забыть о холоде, Рупп перебирал в памяти слова последней записки Тельмана, думал о нем, о тюрьме, о тяжелой участи, выпавшей на долю вождя...

Рупп поглядывал на небо, пытаясь по звездам определить томительно медленное движение времени. Но он был плохим астрономом – звезды ему ничего не говорили. Гораздо больше сказал крик петуха, послышавшийся с той же стороны, откуда брехала собака. Рупп решил, что там расположена деревня или по крайней мере ферма.

Между тем время все-таки двигалось вместе со звездами. И Руппу показалось, что его прошло бесконечно много, когда неподалеку раздался, наконец, шум шагов. Так как голова Руппа находилась ниже уровня земли, то шаги показались ему более громкими, чем были на самом деле. Первым движением Руппа было выскочить из ямы и бежать. Но приказ Клары стоял в ушах: «Никуда не двигайся...»

По мере приближения шаги делались не громче, а все менее слышными. Но они условно приближались. Наконец замерли совсем близко. Некоторое время длилось настороженное молчание, потом послышалось совсем тихое:

– Ты здесь?

Рупп удивился: девичий голос! Он хотел было откликнуться, но вспомнил о пароле и промолчал. Между тем после короткого молчания девушка проговорила снова:

– Откликнись! – И уже с раздражением: – Отзовись же, Франц! Немец ты или нет?

Пересиливая сопротивление застывших губ, Рупп проговорил:

– Как и всякий другой.

Чужим показался ему и собственный голос и эти слова, похожие на шамканье старика.

Тень склонилась над ямой и закрыла весь мир.

– Продрог? – с непонятной Руппу веселостью спросила девушка. – Держи!

Он машинально протянул руки и принял небольшую корзинку.

– Ну-ка, подвинься.

Девушка скользнула в яму. Привыкшие к темноте глаза Руппа видели, как проворные руки прищельницы ловко распаковали корзинку. Через минуту к его застывшим ладоням прикоснулся горячий металл стаканчика.

– Пей!

Первый глоток молока, как пламенем, обжег горло Руппа. Но он с жадностью сделал второй и третий. Закоченевшие пальцы крепко сжимали стаканчик.

– Вот хлеб, – приветливо сказала девушка. Но Рупп, казалось, не слышал. Он глотал горячее молоко и, как на чудо, смотрел на девушку.

А она спокойно уселась, поджав ноги, и смотрела, как он пьет. Потом неторопливо, хозяйски завинтила пустой термос и поставила его в угол ямы.

Рупп, кажется, только тогда до конца понял, как он прозяб, когда выпил молока. Он все еще не в силах был шевельнуть ни ногой, ни рукой. По-видимому, девушка поняла его состояние. Она участливо спросила:

– Очень озяб?

Рупп кивнул головой и тут же увидел, что она расстегивает пальто. Вообразив, что девушка хочет отдать ему свою одежду, он предупреждающе вытянул руки.

Но она и не думала снимать пальто. Расстегнув все пуговицы, она вплотную придвинулась к Руппу и обвила его полами пальто. Заметив его испуганное, отстраняющееся движение, шепнула:

– Погоди... Я согрею тебя.

Тепло ее тела обессилило Руппа. Его руки сами обвились вокруг ее стана. Он приник к ней, прижавшись щекою к ее теплой щеке. У самого уха он услышал тихий смех. Этот звук показался Руппу таким ласковым, и тепло ее тела было таким родным, что он закрыл глаза и без сопротивления отдался наслаждению мгновенно надвинувшегося сна.

Когда Рупп открыл глаза, было уже светло. У самого уха слышалось спокойное дыхание, и в поле зрения был кусочек румяной щеки, светлый завиток волос...

Рупп замер в благоговейном страхе. Он боялся пошевелиться, боялся дышать. Руки девушки были по-прежнему сомкнуты на его плечах и крепко держали полы пальто. А он страшился разжать затекшие пальцы своих рук, лежавших на ее поясе.

Но его удивленное восхищение длилось недолго. Девушка тоже открыла глаза. Ему показалось, что она изумленно смотрит на него, словно не понимая, что произошло. Потом, вспомнив все, беззаботно рассмеялась и стала спокойно собирать рассыпавшуюся косу. Просто спросила:

– Согрелся?

Он не нашел ответа. Молча смотрел на нее.

– Видно, еще не отошел, – с улыбкой сказала она, и только сейчас он отдал себе отчет в том, что она белокура, что у нее большой сочный рот, что вокруг ее несколько вздернутого носика рассыпаны мелкие-мелкие веснушки.

Только сейчас Рупп разобрал, что у нее смеющиеся голубые глаза.

Девушка поднялась, деловито застегнула пальто и одним сильным движением выскочила из ямы. Нагнувшись над ее краем, показала рукою на тянущуюся в глубь леса прогалину, объяснила, как следует идти, чтобы не наткнуться на фермы, где может оказаться полиция. Потом снова улыбнулась широкой приветливой улыбкой.

– Прощай.

– Разве мы никогда не увидимся?

– Где же?

– Как тебя зовут?

– Густа...

– Густа... – повторил Рупп.

– А тебя Франц?

После секунды колебания он твердо ответил:

– Франц.

– Что ж, – она посмотрела в сторону, – может быть, и увидимся. На работе... Подай мне корзинку.

Рупп поймал руку Густы и прижался к ней губами. Девушка испуганно отдернула руку.

– И тебе не стыдно?

– Нет, – твердо ответил он. – Ты очень хороший товарищ, Густа.

Она с минуту колебалась, словно собираясь что-то сказать, но, видимо, раздумала и быстро пошла прочь.

Он смотрел ей вслед. На губах его осталось ощущение шероховатого прикосновения обветренной кожи девичьей руки.

Рука Густы была такая же загрубевшая, как у Клары, но от нее совсем иначе пахло... Совсем иначе...

Глава 3

Оторвав взгляд от окна, Рузвельт отыскал на странице место, где остановился, и стал читать дальше:

«...Я бы хотел от имени народов Соединенных Штатов выразить искреннее сочувствие русскому народу, в особенности теперь, когда Германия ринула свои вооруженные силы в глубь страны... Хотя правительство Соединенных Штатов, к сожалению, не в состоянии оказать России ту непосредственную поддержку, которую оно желало бы оказать, я хотел бы уверить русский народ... что правительство Соединенных Штатов использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет и полное восстановление ее великой роли в жизни Европы и современного человечества...»

Рузвельт отлично знал, что в словах этих не было ни на йоту искреннего сочувствия борьбе, которую вел русский народ, не было ни подлинного доброжелательства, ни хотя бы простого примирения с тем, что произошло в России. Это была игра, которую старался вести тогдашний президент Штатов, профессор Принстонского университета, сын попа и сам душою всего лишь причетник. Большевики свели на нет всю работу государственного департамента, добившегося того, что правительство Керенского стало, по существу, компрадором российской формации, готовым продать страну американским бизнесменам. Заслуга американских дипломатов и разведчиков в том и заключалась, что они сделали Америку монопольным покупателем России из первых рук. Если бы не большевики, Америка, наверно, была бы полным хозяином недр, железных дорог и всей промышленности России. Российская колония, думалось Вильсону, стала бы рассадником американского влияния на величайшем материке Старого Света. Сухорукий недоносок Керенский не сумел использовать пятимиллиардный поток американского золота, чтобы справиться с революцией.

Напрасно Фрэнсис тратил слова и деньги. Ни кликуша Керенский, ни кабинетный писака Милюков, ни слизняк Церетели не сумели обмануть народы России. И пожали то, что должны были пожать: революция уничтожила их самих. Позвав на помощь себе Корнилова, Керенский тут же перепугался. Его ужаснул призрак русского бонапартизма, потому что адвокатик сам мечтал о лаврах узурпатора.

Когда великолепные американские планы потерпели крушение из-за этой шайки политической мелкоты, что оставалось Вильсону? Только лавировать. И, вероятно, всякий другой американский президент, будучи на его месте, отправил бы съезду Советов такое же послание...

Рузвельт задумался и, опустив книгу, стал машинально разглядывать плафон на потолке. Его мысли текли вспять, – к тому времени, когда Вудро Вильсон писал эти строки Четвертому съезду Советов России. Допустим, что через два года после того, как были написаны эти слова, в кресле президента Штатов оказался бы не Гардинг, а снова сам автор этих строк, допустим, что вице-президентом был бы не Кулидж, а он, Франклин Делано Рузвельт. Ведь старый проповедник пытался же протащить его на это место в двадцатом году?..

Произошла ли бы тогда интервенция в Сибири и на севере России?..

Пожалуй... произошла бы...

Во имя чего это было сделано?.. Взять свою часть в России?..

«Часть»! Теперь считают, что в этом был величайший промах. От этой ориентации и произошли все ошибки. Мизерный масштаб экспедиции Гревса, привлечение к участию в деле джапов и, как результат, провал всего предприятия. Гревс был прав, не желая таскать каштаны для других.

Или допустим еще одну возможность: президентом был бы он, Рузвельт. Что тогда? Оказались бы Соединенные Штаты столь же яростным и последовательным противником Сове-

тов? Ведь никаким скребком не вычистишь из истории того, что именно Соединенные Штаты последними установили отношения с СССР. Еще одна непоправимая ошибка! Россия – это сила. Нельзя оставаться зрителем ее развития. Нужно бороться с нею, уничтожить ее или, если нельзя уничтожить, то... сделать ее хотя бы временно своим другом.

С улыбкой, в которой нельзя было прочесть ответа на этот вопрос, поставленный самому себе, Рузвельт отогнул страницу с посланием Вильсона и внимательно прочитал то, что было на следующей:

«Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую голову трудящимся и эксплуатируемым классам Северной Америки Соединенных Штатов по поводу выражения президентом Вильсоном своего сочувствия русскому народу через Съезд Советов в те дни, когда Советская Социалистическая Республика России переживает тяжелые испытания.

Российская Социалистическая Советская Федеративная Республика пользуется обращением к ней президента Вильсона, чтобы выразить всем народам, гибнущим и страдающим от ужасов империалистической войны, свое горячее сочувствие и твердую уверенность, что недалеко то счастливое время, когда трудящиеся массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала и установят социалистическое устройство общества, единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние всех трудящихся».

Через голову Вильсона Ленин протянул руку всем американцам. И по чьей вине? По вине самого же Вильсона!... Еще одна ошибка старого проповедника.

Когда это было?

Двадцать один год тому назад! Как много и как бесконечно мало изменилось с тех пор!

Боже милосердный, как много камней преткновения на его пути.

Как примирить непримиримое – интересы Моргана с интересами Рокфеллера? Как поделить между ними мир, когда каждый хочет захватить его целиком?..

Если представить себе, что вот завтра Гитлер, безнаказанно проглотив Чехословакию, вторгается в Польшу и подступает к границам Советов, что же тогда – гневно крикнуть на весь мир: Соединенные Штаты не допустят, чтобы этот разбойник без предела усиливал свое варварское государство? Послать Сталину такое же письмо, какое послал Ленину Вильсон?.. Что толку? Кто поверит его словам? Да если бы даже и поверили, нельзя предоставить русским до конца бороться один на один с фашистской машиной войны, которую сами они, американцы, так последовательно толкают на восток. Если в этом единоборстве Гитлер возьмет верх, Германия окажется бесконтрольным распорядителем Европы со всеми ее рынками, со всеми капиталовложениями Моргана в ее хозяйство. И Гитлер, нет сомнения, на этом не остановится. Он будет идти дальше и дальше на восток, пока не встретится где-нибудь на Урале или возле Байкала с японцами. Тогда прощай для Америки китайский рынок, прощай вся Юго-Восточная Азия и, может быть, все острова Тихого океана! А что будет тогда с Ближним Востоком, с его нефтью?.. Прав был вчера Гарри, снова и снова напоминая о том, что забыть о нефти – значит провалить все дело.

Кое-кто твердит, будто Америке нет никакого дела до Ближнего Востока, что ей с избытком хватает для бизнеса и надолго хватит своей собственной нефти. Морган и компания никак не желают взять в толк, что интересы Америки требуют расширения нефтяной базы. Для большой политики, которую ведет он, Рузвельт, мало знать, что запас нефти в Соединенных Штатах велик. Нужно иметь ее под рукой во всех концах света – в Техасе и в Мексике, в Ираке и в Польше, в Персии и в Индонезии. Моргановцы не хотят думать о том, что они будут делать со своими долларами без нефти и без недр Рокфеллера, когда придет срок Соединенным Штатам брать в руки вожжи мировой политики. Такое время придет, оно не может не прийти, должно прийти! Это будет спор с Англией и с Японией за пересмотр карты мира. А может быть, с той и другой сразу?.. Оставить к тому времени источники Ирана и Ирака в руках этих англичан? Отдать источники Голландской Индии джапам?..

По какому пути пойдет Индия, если японцы выкинут оттуда англичан? А Африка? Что делать с Африкой... Или, может быть, кто-нибудь попытается уверить его, будто американцам нет дела ни до Африки, ни до Азии? Что же, найдутся и такие, которые всерьез начнут толковать о том, что на дорогах истории достаточно места, что Штаты могут двигаться вперед, не столкнувшись ни с кем...

Нет, он не может равнодушно смотреть, как Гитлер разевает рот на весь мир. Как можно не понимать: руками этого типа господа из Сити готовятся выбить из седла американских предпринимателей. Но не для того он, Рузвельт, намерен в третий раз сесть в президентское кресло, чтобы позволить кому бы то ни было отодвинуть Штаты на задний план.

Пес, который лает, когда в пасти у него кость, неумен. Грызть кости следует молча... Гитлер жаден и глуп. Он рычит, давясь пищей. Он очертя голову лезет в драку из-за любого куска тухлятины... Мерзость!

Гарри, к сожалению, тоже не совсем понимает, как опасен Гитлер. Если этот взбесившийся пес получит все, чего добивается, с ним не будет сладу. Его следует держать на цепи и на голодном пайке. Быть может, ради этого придется пойти на временный союз с Россией, если... если она согласится на это.

Рузвельт окончательно отложил книгу и посмотрел на указатель скорости. Поезд делал не более пятидесяти – пятидесяти пяти километров в час. Рузвельт любил ездить медленно. Лежа на диване своего салона, он с интересом следил за видами, пробегавшими за толстыми, в три дюйма, стеклами вагона.

Президент прекрасно знал свою страну. Он мог без путеводителя с точностью сказать, где в любой данный момент находится поезд. Он мог с сотней подробностей, которых нельзя было найти ни в учебниках географии, ни в истории, рассказать, что и когда произошло в любом из пунктов. Он любил часами с оживлением, даже несколько хвастливо, рассказывать это своим спутникам. Те, кто часто с ним ездил, поневоле приобщались к знанию исторической географии Америки.

В салоне никого, кроме Рузвельта, не было. Считалось, что в этот час он спит, выполняя строжайший наказ своего врача Макинтайра. Рузвельт полулежал с выражением полного удовлетворения на лице: одиночество не было слишком частым уделом президента.

Следуя извивам железной дороги, луч солнца медленно переползал вдоль темных, мореного дуба, панелей стены. Иногда он исчезал вовсе, перехваченный высоким краем выемки или стеною леса, пробегавшего за окном.

В президентском вагоне поезда было тихо. Стук колес на стыках мягко доносился сквозь толстые стальные плиты пола, утяжеленного еще листами свинца. Эта комбинация стали и свинца должна была, по мысли конструкторов, сообщить полу не только непробиваемость на случай покушения при помощи бомбы, но и придать вагону столь большой вес, что взрыв не должен был бы его перевернуть. Вагон просто осел бы на полотно. Впрочем, единственным практическим результатом этих инженерных выдумок, который пока ощущали пассажиры вагона, было то, что толстый пол отлично поглощал звуки, а тяжесть придавала вагону плавный ход. На ходу можно было писать без помех.

Поезд прогрохотал по небольшому мосту. Перед взором Рузвельта поплыли крыши большой фермы, одиноко стоящей на высоком берегу ручья. Он отлично помнил эту красиво расположенную ферму. Ее голубые крыши всегда были для него живым напоминанием благополучия, о котором так жадно мечтает американский земледелец.

Он, Рузвельт, не раз уже обещал сделать эту мечту реальностью. Но несколько миллионов полуголодных фермеров по-прежнему быстро катились к полному разорению. Они разорялись под непосильным гнетом налогов и спекулятивной политики крупных земельных компаний, действовавших заодно с монополистами по скупке сельскохозяйственных продуктов.

Рузвельт знал, что подобная политика стягивает горло американского фермера, как мертвая петля палача. Он прекрасно знал, что эта политика монополий пополняет армию безработных, и без того достигшую опять страшной цифры в восемнадцать миллионов человек. И, что скрывать, он знал, какую ужасную взрывную силу таит в себе такая армия. Только последние глупцы могли не видеть, что еще в 1933 году американский народ был на грани восстания.

Еще немного, и фермеры пустились бы в атаку. Если бы тогда нашлись люди, способные объединить озлобленных фермеров с миллионами доведенных до отчаяния безработных!.. Удар тридцати миллионов человек, ведомых таким полководцем, как голод... Брр!.. И сейчас еще становится не по себе...

Но что же навело его на эти невеселые воспоминания?.. Ах да, богатая ферма с голубыми крышами!

Рузвельт сделал усилие, чтобы приподняться. Ему хотелось еще раз взглянуть на убежавшие крыши. Вот они, там, вправо!.. Но почему они так потускнели? Почему крест-накрест забиты окна и что означает этот повалившийся забор? Что это за обгорелые столбы на месте загона для скота? Неужели цепкая лапа кризиса схватила за горло даже таких крепких хозяев?..

Что же скажет он сегодня фермерам в Улиссвилле?

Кстати, об Улиссвилле: если голубые крыши, значит скоро эта станция.

Рузвельт нажал кнопку звонка.

– Артур, – сказал он вошедшему Приттмену, – я должен сесть у окна.

Камердинер молча помог ему подняться на шинах протеза. Это была мучительная операция. Те несколько шагов, что отделяли диван от окна, стоили Рузвельту огромного напряжения – лоб его покрылся крупными каплями пота.

– Ничего, ничего, Артур, – немного задыхаясь, пробормотал он. – Все в порядке... Идите...

Приттмен послушно удалился. Он знал, что президент ни за что не позволит фермерам, перед которыми ему предстояло выступить с речью, заметить, что перед ними, по существу говоря, совершенный калека. В любых обстоятельствах посторонние могли видеть президента только сидящим. Если же он стоял, им предоставлялось смотреть на его массивный корпус, с формами, развитыми, как у атлета, либо на его большую голову, с высоты которой навстречу им всегда светила приветливая улыбка сильного главы Штатов. Ноги Рузвельта в таких случаях бывали закрыты. Даже если ему нужно было встать в присутствии посторонних, его очень ловко, всего на один момент, прикрывали слуги или агенты личной охраны. Никому из непосвященных не дано было видеть нечеловеческого усилия, которое невольно отражалось на лице президента, когда нужно было поднять тяжелое тело на шины, заменявшие ему безжизненные ноги.

Несколько минут Рузвельт неподвижно сидел у окна. Сквозь толстые стекла зеленоватого цвета все окружающее приобретало несколько более блеклые тона.

В первое время, когда охрана прикрывала президенту вид на мир этими пуленепроницаемыми стеклами, его раздражало то, что сквозь них не видно ярких красок, которые он любил. Но со временем он привык к этой стеклянной броне, как и к остальным неудобствам жизни президента.

В салон вошел Гопкинс. Рузвельт встретил его оживленным возгласом:

– Смотрите, смотрите, Гарри!

И показал на висившийся у подножия холма огромный транспарант с изображением красного чудовища, держащего в клешнях ленту с надписью: «Омары Кинлея».

Тысячи подобных реклам мелькали вдоль полотна железной дороги. Гопкинс не мог понять, почему именно этот аляповатый щит с багровым чудищем привел президента в такой восторг.

– Если бы вы знали, Гарри, – оживленно пояснил Рузвельт, – какое чертовски забавное воспоминание молодости связано у меня с омарами!

– Я ем омаров только с соусом Фалька, – ответил Гопкинс унылым тоном человека, которому из-за отсутствия доброй половины желудка самая мысль об еде не доставляла ничего, кроме неприятности.

– Перестаньте! – воскликнул Рузвельт. – Фальк – самый отвратительный обманщик, который когда-либо занимался соусами. Он готовит их из дешевых отходов.

– Кто вам сказал?

– Против Фалька уже несколько раз пытались возбудить преследование: он отравляет миллионы людей. Но всякий раз этот негодяй ускользает. И не могу понять, каким образом? – Рузвельт развел руками.

– Так я вам скажу: вероятно, всякий раз, когда Фальк должен попасть под суд, в его компании прибавляется еще один акционер – судья, который прекращает дело.

– Если бы это было так просто... – недоверчиво произнес Рузвельт.

– Не воображаете ли вы, что это слишком сложно? – желчно сказал Гопкинс. – Но черт бы его побрал! Неужели я должен отказаться и от омаров?

– Мясо омаров очень полезно, – наставительно возразил Рузвельт. – Когда я собирался открывать ресторанный линию...

– Вы опять выдумываете.

– Ничуть не бывало. Сейчас расскажу. Но сначала о соусах. Боюсь, что ваше пристрастие к дрянной приправе вынудит хирургов к повторной операции.

– Станут они напрасно терять время! – с напускной небрежностью сказал Гопкинс. – Разве только какая-нибудь старая дева, одна на все Штаты, теперь не знает, что борьба с раком – пустое занятие.

– Ну, уж непременно рак! – В тоне Рузвельта звучало ободрение, хотя он отлично знал, как называется болезнь Гопкинса.

Сам тяжело больной, ясно сознающий свою неизлечимость, Рузвельт не мог свыкнуться с мыслью, что смерть сторожит его ближайшего помощника, ставшего еще нужнее после смерти Гоу. Гарри дьявольски работоспособен, его связи обширны. Он, как хороший лоцман, помогает Рузвельту вести корабль сквозь пенные буруны политики между банковской Сциллой Моргана и нефтяной Харибдой Рокфеллера... Да, Гарри незаменимый помощник.

Рузвельт отлично знал, что говорят и даже чего не говорят вслух, а только думают об его советнике. Злые языки приклеили Гопкинсу ярлык «помеси Макиавелли и Распутина из Айовы». Его считают злым гением Белого дома, закулисным интриганом. Все это знал президент. Но зато он знал и то, что Гарри – это человек, с которым он может работать спокойно. Наконец, Рузвельт был уверен: в любой момент можно вместо себя подставить Гопкинса под удары политических противников. Всякое поношение отскочит от Гарри, как старинное каменное ядро от брони из лучшей современной стали.

Откуда, как пришла эта дружба двух людей, столь мало похожих друг на друга? Рузвельт был аристократ, в том смысле, как об этом принято говорить в его круге. Он всегда с гордостью произносил имена своих предков, высадившихся с «Майского цветка». Он знал, что его считают «тонко воспитанным человеком общества», и не без кокетства носил репутацию всеобщего очарователя. Как он мог сойтись с этим социалистом-ренегатом, сыном шорника, резким, подчас нарочито неучтивым Гопкинсом? Гарри был способен, забросив все дела, вдруг превратиться в оголтелого гуляку и в наказание за это надолго слечь в постель. Почему потомственный миллионер так доверился человеку, не обладавшему сколько-нибудь значительными собственными средствами, но с легкой душой разбрасывавшему чужие миллиарды?

Все это считалось психологической загадкой для журналистов и досадным парадоксом, хотя никакой загадки тут не было: Гопкинс был фанатически предан Рузвельту, он был «его человеком».

Когда Гопкинс, заговорив о соусах, невольно напомнил Рузвельту о своей смертельной болезни, чувство беспокойства всплыло у Рузвельта со всею силой.

Президент ласково притянул Гарри к себе за рукав. Но Гопкинс махнул рукой, словно говоря: «Буду ли я есть соус Фалька или какого-нибудь другого жулика – все равно смерть».

Рузвельт с возмущением воскликнул:

– Гарри, дорогой, поймите: вы мне нужны! Мне и Штатам. Не зря же толкуют, что вы мой «личный министр иностранных дел»!

Гопкинс криво улыбнулся.

– Если вопрос стоит так серьезно, то я готов переменить поставщика соусов.

– Запрещаю вам покупать их у кого бы то ни было, слышите? Моя собственная кухня будет поставлять вам приправы к еде. Макинтайр составит рецепты и...

Гопкинс перебил:

– Тогда уж и изготовление этих снадобий поручите Фоксу.

– Блестящая мысль, Гарри! Из того, что Фокс фармацевт, вовсе не следует, что он не может приготовить вам отличный соус для омаров. Кстати, я едва не забыл об омарах.

Зная, что сейчас Рузвельт ударится в воспоминания, Гопкинс болезненно поморщился. Ему жгла руки папка с бумагами, которую он держал за спиной. Необходимо было подсказать президенту кое-что очень важное. Дело не терпело отлагательства, а воспоминания Рузвельта – это на добрых полчаса.

– Вы отчаянный прозаик, Гарри. Если бы нас не сближало то, что мы оба безнадежные калеки...

– Надеюсь, не только это...

– Но и это не последнее в нашей совместной скачке, старина! Хотя не менее важно то, что у нас чертовски разные натуры: вы способны думать об омарах только как о кусках пищи красного цвета, немного пахнущих морем и падалью, для меня омар – целое приключение. Это было лет двадцать тому назад, может быть, немного меньше. Мне пришла идея ускорить доставку даров моря из Новой Англии на Средний Запад, перевозя их в экспрессах. Этого еще никто не пробовал. Я стал размышлять над тем, какой продукт смог бы выдержать высокий тариф такой перевозки.

– По-моему, устрицы...

– Нет, омары! Вот что показалось мне подходящим товаром. Перевозка в холодильнике экспресса не могла сделать их слишком дорогими для любителей деликатесов в Сен-Луи. В течение года дело шло так, что я подумывал уже о расширении ассортимента, когда случилось несчастье... вот это... – Рузвельт указал на свои ноги. – Пришлось бросить все на компаньона.

– Кого именно? – быстро, хотя и совершенно машинально, спросил Гопкинс.

– Не все ли равно? – неопределенно ответил Рузвельт. – Когда я пришел в себя от удара настолько, что вспомнил об этих омарах и справился о деле, оказалось, что оно с треском вылетело в трубу.

– Как и большинство ваших дел, – скептически заметил Гопкинс.

– Да... Компаньона осенила великолепная идея: «Если арендовать целую полосу берега в бухте и огородить ее так, чтобы омары не могли уходить в море, то они начнут размножаться и скоро заполнят всю бухту. Это будут наши собственные омары, совсем под руками». Увы, в его плане оказался один маленький просчет: чтобы размножаться, омары должны уходить в море... Так лопнуло это дело...

Рассказывая, Рузвельт мечтательно смотрел в окно, весь отдаваясь воспоминаниям:

– Потом мне еще раз пришла блестящая мысль, связанная с гастрономией. Я заметил, что по Албани пост-род происходит усиленное движение автомобилей, и подумал: было бы неплохо создать вдоль этой дороги цепь ресторанов. Они снабжались бы готовыми блюдами из одной центральной кухни. Я даже составил меню: холодное мясо, сэндвичи, несколько сортов салатов, пиво, эль и, может быть, еще чай в термосах. Горячий – только чай, остальное в холодном виде.

Такое дело могло бы отлично пойти. Но, черт побери, я никогда не мог забыть печальной истории с омарами и так и не решился приняться за свои рестораны...

– Рестораны не для вас, патрон, – желчно проговорил Гопкинс, – а вот что касается омаров, то просто удивительно, что вы, уделяющий столько внимания улучшению условий человеческого существования, не подумали об условиях, определяющих возможность размножения или вымирания омаров.

– Что общего между омарами и людьми?

– Те и другие поедают падаль, те и другие созданы Богом на потребу нам.

– Я лучшего мнения и о Боге, и о людях, Гарри.

– Тем более достойно сожаления, что вы не занялись вопросом регулирования их размножения.

– Должен признаться, Гарри, я никогда всерьез не интересовался этими делами.

– А стоило бы.

– Не стану спорить, но, на мой взгляд, это чересчур большой и сложный вопрос, чтобы заниматься им между прочим. А на серьезное изучение у меня нет времени.

– Для нас с вами он стоит в одном единственном аспекте: что делать с людьми, когда их станет еще больше? Впрочем, мы не знаем, что с ними делать уже сейчас! – сердито проговорил Гопкинс. – По-моему, вопрос не так уж сложен, как хотят его представить всякие шарлатаны от науки: людей на свете должно быть как раз столько, сколько нужно.

– Нужно для кого? – прищурившись, спросил Рузвельт.

Гопкинс прищурился, копируя собеседника:

– Для нас с вами! – И пожал плечами.

– Ручаюсь вам, Гарри, мальтузианство – бред кретина, забывшего лучшее, что Господь Бог вложил в нашу душу: любовь к ближнему.

– Что касается меня, – желчно сказал Гопкинс, – то я люблю ближнего только до тех пор, пока получаю от него какую-нибудь пользу. А я не думаю, чтобы увеличение народонаселения, хотя бы у нас в Штатах, способствовало моей или вашей пользе.

– Это отвратительно, Гарри, то, что вы говорите! – крикнул Рузвельт. – У вас немыслимая каша в голове... вы ничего не понимаете в этом. Хорошо, что ни вы, ни я не успеем засесть за мемуары.

– За меня не ручайтесь...

– Не обольщайтесь надеждой, что я оставлю вам время на это старческое копание в отбросах своего прошлого.

– Только потому, что мне не дано дожить до старости, только поэтому.

– Вовсе нет, – запротестовал Рузвельт. – Я не позволю ни себе, ни вам тратить время на старики-жалобы, пока один из нас способен на большее.

Гопкинс отлично понимал, что хочет сказать Рузвельт, но ему доставляло удовольствие строить гримасу недоумения. Он любил поднимать подобные темы и часто спорил с президентом. Эрудированные доводы образованного и дальновидного Рузвельта частенько бывали Гопкинсу очень кстати, когда ему самому приходилось отстаивать точку зрения президента перед его противниками. Эти доводы особенно были нужны Гопкинсу потому, что он не находил их у себя.

Гопкинс не был простаком. К тому же, будучи помощником такого изощренного политика, как Рузвельт, он не мог относиться к противникам так легкомысленно, как относился кое-кто из его друзей, в особенности все эти оголтелые ребята из шайки Ванденгейма. Гопкинс смотрел на коммунизм, как на серьезное явление в жизни общества. Он отдавал должное русским, проводившим учение Маркса и Ленина в жизнь с завидной последовательностью. Но он, разумеется, не соглашался с тем, что позиции его общественной системы – капитализма – могли быть сданы этому враждебному его миру мировоззрению.

Вот тут-то ему недоставало теоретических знаний, а Рузвельт прибегал иногда к мыслям таких, казалось бы, далеких миру президента философов, как Ленин и Сталин. При грандиозном размахе их философских построений, при невиданной смелости социальных и экономических решений, предлагаемых человечеству, они никогда не отрывались от реальности.

Нет, Гопкинс не был философом. Единственными уроками философии, которые он признавал, были беседы с Рузвельтом. Но и здесь он частенько проявлял такую же несговорчивость, как сегодня:

– Не понимаю, что глупого в рассуждениях Мальтуса? Но допустим, что попытка избавиться от перепроизводства рабочих рук – действительно чепуха. Тогда нужно сократить производство машин-производителей.

– Одна глупость страшнее другой, – воскликнул Рузвельт.

– Не понимаю, что тут глупого, – сказал Гопкинс, – если вместо одного давящего автомата я посажу в сарай сотню парней. Все они будут заняты, все будут получать кусок хлеба, а я буду иметь те же пятьсот кастрюль в день, которые штампует автомат.

В глазах Рузвельта мелькнула нескрываемая насмешка. Когда Гопкинс умолк, он сказал:

– Значит, когда эти сто парней родят еще сто, вы должны будете дать им в руки вместо медного молотка деревянный или просто берцовую кость съеденного ими вола, чтобы работа у них шла медленней. А когда у той второй сотни родятся еще сто сыновей, вы заставите их выгибать кастрюли голыми пальцами, а закраины для донышка делать зубами?

– Это уже абсурд!

– А не абсурд предполагать, что три доллара, которые вы даете сегодня мастеру при автомате, можно разделить на сто парней, а потом на двести, а потом...

– Вы сегодня поднимаете меня на смех.

– Это все-таки лучше, чем если бы вас подняли на смех Тафт или Уилки.

– Одно другого стоит, – кисло протянул Гопкинс. – Но в заключение я вам все-таки скажу, что сколько бы вы ни занимались вашей филантропией, вы не спасете от катастрофы ни Америку, ни тем более человечество. – Гопкинс подумал и очень сосредоточенно продолжал: – Я настаиваю: перспектива должна быть! – Он убеждающе потряс в воздухе кулаком. – Поймите же, патрон, она должна быть тем лучшей, чем меньше людей будет на земле. Ведь чем скорее они размножаются, тем больше возникает противоречий, тем сгущеннее атмосфера, тем страшнее смотреть в будущее.

– Вы пессимист, Гарри...

– Ничуть! Мне просто хочется думать логически: а к чему же мы придем, когда их будет вдвое, втрое больше? Это же черт знает что!.. Кошмар какой-то!..

Рузвельт остановил его движением руки.

– Вы недурной делец, во всяком случае, с моей точки зрения, – прибавил он с улыбкой, – но ни к черту не годный философ, Гарри... – Он пристально посмотрел в глаза собеседнику. – Говорите прямо: вам хочется уничтожить половину человечества?..

Глава 4

Рузвельт был человеком, не способным положить на стол даже локти. Он был из тех, кто в нормальных условиях избегал говорить неприятности. Во всех случаях и при любых обстоятельствах он стремился приобретать политических друзей, а не врагов. Вместе с тем он понимал, что в сношениях с противниками, будь то внутри Штатов или за их пределами, – особенно если эти противники более слабы, – нужно разговаривать подчас просто грубо.

Поэтому Рузвельту нужен был кто-нибудь, кто мог за него класть на стол ноги на всяких совещаниях внутри Америки и на международных конференциях и говорить с послами языком рынка. Таким человеком и был Гарри Гопкинс.

Гопкинс понимал: вопрос, только что заданный ему Рузвельтом, – не риторический прием. Но Гарри достаточно хорошо изучил президента, чтобы знать, что в разговоре с ним далеко не всегда следует называть вещи своими именами. Нужно предоставить ему возможность обратиться к избирателям с высокочеловечными декларациями, обещать мир всему миру, обещать людям счастливое будущее. А когда дойдет до дела, он, Гопкинс, найдет людей, руками которых можно делать любую грязную работу.

Не всегда можно было прочесть мнение президента в его взгляде. Сейчас, например, Гопкинс не мог понять: действительно ли Рузвельт осудил его, или это опять только манера всегда оставаться в глазах людей чистоплотным.

«Вам хочется уничтожить половину человечества?..»

Что ему ответить?..

Гопкинс негромко произнес:

– Я этого не сказал, но...

– Но подумали! А мне не хочется, чтобы мой лучший друг строил из себя какого-то каннибала, считающего, что только война может нам помочь выйти из тупика.

– Значит, тупик вы все-таки признаете! – торжествующе воскликнул Гопкинс, поймавший Рузвельта на слове, которое у того еще ни разу до сих пор не вырывалось. Но президент мгновенно отпарировал:

– Не тот термин, – сказал он, – я имел в виду политический кризис и только...

– Ну, так попробуйте вытащить мир из этого «кризиса», избежав войны. Буду рад выслушать хорошую лекцию по этому поводу.

– К сожалению, Гарри, – и лицо Рузвельта сделалось задумчивым, – я теперь все чаще обращаюсь к русской литературе, когда мне приходится разбираться в сложностях, до которых докатилось человечество. На этот раз я передам вам мысль одного русского публициста, с которым сам познакомился недавно. Но тем свежее у меня в памяти его мысль: некий джентльмен сомневается в дальнейшей судьбе цивилизации человечества только потому, что животный страх за собственные преимущества, присвоенные за счет других людей, он переносит на общество в целом. Он думает: «Так как с прогрессом общества будут уменьшаться мои сословные преимущества, обществу в целом будет хуже. А когда меня вовсе лишат привилегий, общество окажется на грани гибели...» – Рузвельт вопросительно посмотрел на Гопкинса. – Вы поняли, Гарри?.. Не кажется ли мне, что, когда меня лишат Гайд-парка, человечество останется без крова?..

– Я далек от таких aberrаций, – с цинической откровенностью проговорил Гопкинс. – Меня беспокоит судьба этого поезда, – он выразительно обвел вокруг себя рукою, – а вовсе не то, что находится там, – и он с презрением ткнул пальцем в окно вагона, на видневшиеся за толстым стеклом домики фермеров.

– Тогда, мой друг, – с ласковой наставительностью проговорил Рузвельт, – вы должны прежде всего выкинуть из головы глупости, которые в ней сидят. Мальтус не подходит. Мас-

сам людей он гадок. Это не философия, а грубый обман. На него нельзя поддеть человечество. Только трусы, потерявшие голову, могут полагаться на подобные средства борьбы с разумными требованиями простого человека. Запомните, Гарри: животный страх перед массой не делает дураков умными – они остаются дураками. Пойдемте своей дорогой. Если мы не сумеем завоевать любовь американцев – конец! – Он погрозил Гопкинсу пальцем. – Запомните, Гарри: сознательный гнев масс – это революция. – С этими словами он отвернулся было к окошку, но тут же снова подался всем корпусом к Гопкинсу. – Этого вы не записывайте в своем дневнике... А теперь, что вы там мне приготовили? – И протянул руку к папке, которую держал Гопкинс.

Гопкинс молча подал лист, лежавший первым. Взгляд Рузвельта быстро пробежал по строкам расшифрованной депеши.

«24 марта 1939

Американский посол в Лондоне

Кэннеди

Государственному секретарю США

Хэллу

Лорд Галифакс считает, что Польша имеет большую ценность для западных держав, чем Россия. По его сведениям, русская авиация весьма слаба, устарела, оснащена самолетами малого радиуса действия; армия невелика, ее промышленная база не готова...»

По мере того как Рузвельт читал, все более глубокая морщина прорезала его лоб. Закончив чтение, он еще несколько мгновений держал бумагу в руке. Словно нехотя вернул ее Гопкинсу:

– Что говорит Хэлл?

– Что Галифакс высказался в пользу того, чтобы провести перед Германией черту и заявить: «Если Гитлер перейдет эту черту – война».

– Пусть заявляет... – неопределенно ответил Рузвельт, не поворачивая головы. И помолчав: – Уж не хочет ли Галифакс, чтобы мы присоединились к этому заявлению?

Гопкинс пожал плечами.

– Я их понимаю, – задумчиво проговорил президент. – Чемберлену и Даладье есть из-за чего рвать на себе волосы: Чехословакия – в брюхе Гитлера, а он пока и не думает двигаться дальше на восток...

– На Россию?

– Я сказал: на восток, – с ударением повторил Рузвельт и после минутной задумчивости продолжал: – Вот когда я много дал бы, чтобы с точностью знать: действительно ли так слаба Россия или это обычный просчет англичан?

– Не всегда же они ошибаются.

– Это становится их традицией. Вспомните, как в тридцать седьмом их пресса из кожи вон лезла, чтобы доказать слабость Китая, его неспособность сопротивляться нападению японцев.

– Это понятно. Англичанам чертовски хотелось толкнуть джапов в Китай назло нам.

– Но вспомните, что они пророчили: капитуляцию Китая через два месяца. А что вышло?... Джапы увязли там так, что не могут вытащить ноги. Не получится ли того же с Германией?..

– Мы могли бы помочь ей так же, как помогали Японии, – ответил Гопкинс, но Рузвельт резко оборвал его:

– Я не хочу слушать такие разговоры, Гарри! Слышите, не хочу!

– Так или иначе, Хэлл готов поддержать стратегию англичан и французов.

Рузвельт ничего не ответил. Гопкинс продолжал:

– Их идея заключается в том, чтобы поместить Россию... вне запретной черты Галифакса. Рузвельт снова ничего не ответил.

Гопкинс знал эту манеру президента: делать вид, будто не слышит того, по поводу чего не хочет высказывать свое мнение. Поэтому Гопкинс договорил:

– Они полагают, что при таких условиях Гитлер нападет на Советский Союз.

Рузвельт действительно не хотел отвечать. Ему нечего было ответить. Ведь именно этот вопрос он поставил перед собою не дальше получаса назад, читая послание Вильсона. Вот судьба: ответ потребовался гораздо быстрее, чем он предполагал. И вовсе не в теоретическом плане. От того, что он скажет Хэллу, зависело, быть может, куда и когда двинется Гитлер...

Близкие к Рузвельту люди знали, что, называя сам себя якобы в шутку величайшим притворщиком среди всех президентов Штатов, он говорил сущую правду, тем самым стараясь скрыть ее от людей.

Он как-то сказал: «Если хотите, чтобы люди не знали ваших истинных намерений, откровенно скажите, что собираетесь сделать. Они тут же начнут ломать себе голову над совершенно противоположными предположениями». Однако сам Рузвельт ни разу не последовал этому правилу, и тем не менее никто и никогда не знал того, что он думает. Президент действительно был великим мастером притворства.

Почти невзначай, словно она не имела никакого отношения к делу, прозвучала его просьба, обращенная к Гопкинсу:

– Дайте-ка мне вон тот бювар, Гарри. Это мои предвыборные выступления. Я хочу тут кое-что просмотреть перед встречей с фермерами Улиссвилля.

Поняв, что президент хочет остаться один, Гопкинс повернулся к выходу, но Рузвельт остановил его:

– Дуглас отдохнул?

– Макарчер не из тех, кого утомляют перелеты. Он давно сидит у меня в ожидании вашего вызова.

– Пусть заглянет, когда поезд отойдет от Улиссвилля. Да и сами заходите – послушаем, что творится на Филиппинах. Теперь это имеет не последнее значение, а будет иметь вдесятеро большее.

– Вы знаете мое отношение к этому делу, патрон.

– Знаю, дружище, но вы должны понять: именно обещанная филиппинцам независимость...

Гопкинс быстро и решительно перебил:

– На этот раз нам, видимо, придется выполнить обещание.

– Через семь лет, Гарри. – И Рузвельт многозначительно повторил: – Только через семь лет!

– Если это не покажется вам парадоксом, то я бы сказал: именно это меня и пугает – слишком большой срок.

Рузвельт покачал головой.

– Едва ли достаточный для того, чтобы бедняги научились управлять своими островами.

– И более чем достаточный для того, чтобы Макарчер успел забыть о том, что он американский генерал.

– Дуглас не из тех, кто способен это забыть. И кроме того, у него будет достаточно забот на десять лет вперед и после того, как «его» республика получит от нас независимость. Составленный им десятилетний план укрепления обороны Филиппин поглотит его с головой.

Гопкинс недоверчиво фыркнул:

– Меня поражает, патрон: вы, такой реальный в делах, становитесь совершенным фантазером, стоит вам послушать Макарчера.

– Своею ненасытной жадой конкистадора новейшей формации он мог бы заразить даже и вас.

– Сомневаюсь... Начнем с того, что меня нельзя убедить, будто Япония предоставит нам этот десятилетний срок для укрепления Филиппин.

– Тем хуже для Японии, Гарри, могу вас уверить, – не терпящим возражений тоном произнес Рузвельт.

Но Гопкинс в сомнении покачал головой:

– И все-таки... Я опасаюсь...

– Пока я президент...

– Я ничего и никого не боюсь, пока вы тут, – Гопкинс ударил по спинке кресла, в котором сидел Рузвельт, и повторил: – Пока тут сидите вы.

Веселые искры забегали в глазах Рузвельта. Поймав руку Гопкинса, он сжал ее так крепко, что тот поморщился.

– То же могу сказать и я: что может быть мне страшно, пока тут, – Рузвельт шутливо, подражая Гопкинсу, ударил по подлокотнику своего кресла, – стойте вы, Гарри! А что касается Дугласа – вы просто недостаточно хорошо его знаете.

– Кто-то говорил мне об усмирении...

– Перестаньте перетряхивать это грязное белье! – И Рузвельт с миной отвращения замахал обеими руками. – Короче говоря, я не боюсь, что Макарчер променяет президента Рузвельта на президента Квесона.

– Но может променять его на президента Макарчера.

– Если бы он и был способен на такую идиотскую попытку, она не привела бы его никуда, кроме осины. Его линчевали бы филиппинцы. Не думаю, чтобы им пришлось по вкусу президент-янки. Нет, этого я не думаю, Гарри. – По мере того как Рузвельт говорил, тон его из шутливого делался все более серьезным и с лица сбегали следы обычной приветливости. Но тут он ненадолго умолк и, снова согнав с лица выражение озабоченности, прежним, непринужденным тоном сказал: – Кстати, Гарри, когда увидите нашего «фельдмаршала», скажите ему, чтобы не показывался в окнах вагона. Пусть не ходит и в вагон-ресторан. Я не хочу, чтобы об его присутствии пронюхала пресса. А в ресторане, говорят, всегда полно этих бездельников-корреспондентов.

– Где же им еще ловить новости, если вы уже второй день не собираете пресс-конференций.

– Подождут!

При этих словах он жестом отпустил Гопкинса и принялся перелистывать вшитые в бювар бумаги. Отыскав стенограмму своего недавнего заявления, сделанного журналистам в Гайд-парке, он остановился на словах: «...Заявление о включении США в Англо-французский фронт против Гитлера представляет собою на сто процентов ложное измышление хроникеров...»

Да, именно это было им сказано. Что же это такое – дань предвыборной агитации или искреннее заявление создателя первой в истории Штатов настоящей двухпартийной политики?

Двухпартийная политика! Пресловутые «лагери» не менее пресловутых «республиканцев» и «демократов». Даже наедине с самим собою Рузвельт не стал бы называть вещи своими именами. Хотя и он сам, как и всякий мало-мальски ориентированный в американской политической жизни человек, отлично понимал, что дело вовсе не в этих двух организациях, имевших мало общего с обычным понятием политической партии. Двумя чудовищами, под знаком смертельной борьбы которых проходила вся политическая и экономическая жизнь Америки, были банковско-промышленная группа Моргана, с одной стороны, и нефтесырьевая группа Рокфеллера – с другой. Сочетание политики этих монополистических гигантов и следовало бы, собственно говоря, именовать двухпартийной политикой. До Франклина Рузвельта

такое сочетание плохо удавалось американским президентам. Ставленники группы Моргана падали жертвами интриг мощного выборного аппарата рокфеллеровских «политических боссов». Ставленников Рокфеллера нокаутировал аппарат Моргана. Для народа это носило название борьбы демократов с республиканцами. Но ни один американец с конца девятнадцатого столетия уже не мог дать ясного ответа на вопрос, чем отличаются республиканцы от демократов. Зато всякий отчетливо знал, что между ними общего: та и другая «партия» была орудием политики решающих монополистических групп...

Рузвельт знал, что его заявление журналистам произвело сенсацию далеко за пределами Америки. Через некоторое время государственный департамент дал знать в Европу, что в случае конфликта из-за Чехословакии Франция не должна рассчитывать ни на поставки американских военных материалов, ни на кредиты из США. И в прямой связи с его заявлением находилось то, что было провозглашено в комиссии сената по иностранным делам: «Сенат США не поставит на голосование никакого договора, никакой резолюции, никаких мер, определяющих вступление США в войну за границей, так же, как никаких соглашений, никаких совместных действий с любым иностранным правительством, которые имели бы целью войну за границей». А это тоже имело большой резонанс в Европе.

Больше того! С санкции президента, в угоду изоляционистам, которых накануне выборной кампании нужно было умиловить, Хэлл сообщил Франции, что если разразится война в Европе, французы не получают от Америки больше ни одного самолета, даже из числа уже заказанных французским правительством, и даже из тех, что уже готовы для него...

Да, именно так обстояло дело с Чехословакией!

А как будет с Польшей?

Если Гитлер действительно проглотит и Польшу, то неужели он, Рузвельт, и на этот раз получит послание, подобное тому, которое прислал после Мюнхена английский король? С идиотской торжественностью, на которую способны одни английские дипломаты, посол Великобритании вручил ему тогда это письмо. Рузвельт помнит его почти дословно – так оно было неожиданно и так не соответствовало политическому моменту:

«Считаю обязанностью сказать вам, как я приветствую ваше вмешательство в последний кризис.

Георг».

Последний кризис!..

По лицу Рузвельта пробежала горькая усмешка: поистине глупость не мешает им совершать подлости, а подлость – быть дураками! Он захлопнул бювар и отбросил в сторону: политика!

За окном промелькнули первые фермы окрестностей Улиссвилля. Влево, на холме, прямо против просеки, сбегавшей к его подошве, среди могучих сосен был виден белый дом с колоннами. Большой красивый дом старинной усадьбы.

Если бы Рузвельт не был в салоне один, он непременно рассказал бы интересную историю о том, как в этом доме, наследственном гнезде таких же американских аристократов-первоприсельцев, какими были Рузвельты, генерал Улисс Грант подписал приказ о большом наступлении на южан во время Гражданской войны 1861–1865 годов. Наступление шло вдоль той вон долины. Теперь там виднеются лишь прозаические оцинкованные крыши станционных построек Улиссвилля.

Рузвельт мог бы рассказывать долго. Он помнил такие подробности, словно сам присутствовал при подписании этого приказа среди офицеров-северян, или, может быть, в качестве близкого друга хозяина дома.

Он и вправду представлял себе все это очень ясно. Так может представлять себе события только человек, влюбленный в историю своей страны.

Если говорить откровенно, ему нередко досаждала мысль о том, что у его родины нет большого прошлого. История Штатов еще слишком коротка, чтобы называться «историей» в буквальном смысле этого слова. Самое дрянное из бесчисленных немецких княжеств начинает свои летописи на несколько столетий раньше, чем на свет появилось государство Соединенных Штатов Америки.

Но чем меньше прошлого было у Штатов, тем больше хотелось Рузвельту, чтобы оно было значительным. А уж если нельзя было преклоняться перед величием прошлого Штатов, то Рузвельт жил мечтой о будущем расширении их могущества далеко за пределы, ограничивавшие горизонты таких людей, как Грант и Линкольн. Если бы только они могли себе тогда представить всю силу, которую таит доктрина Монро! Если бы только кто-нибудь знал, как он, Франклин Рузвельт, благодарен этому вирджинскому эсквайру! Мысль Джеймса Монро в хороших руках может стать орудием перестройки всей политики Штатов.

Быть может, даже перестройка мира пойдет под новым, еще не всеми угадываемым, но неизбежным, как судьба, водительством Америки. Нужно добиться от каждого американца, кто бы он ни был – простой фермер или сенатор, нового понимания принципов внешней политики Штатов. Нельзя вести старую политику, достигнув нынешней мощи Соединенных Штатов. Нужно осторожно, но уверенно поставить на повестку дня вопрос о том, что Британская империя одряхлела и изжила себя. В ее выродившемся организме уже нет сил, необходимых для сдерживания центробежного стремления ее составных частей. Тем более нет у нее возможностей создать центростремительные силы, необходимые для превращения этого рыхлого кома в монолит. А не создав его, не пройдешь сквозь приближающиеся бури. В Европе поднимается фашистская Германия. Куда она устремится? Если трезво смотреть на вещи, то при всем отвращении к этому гитлеровско-генеральскому гнезду нельзя иметь ничего против того, чтобы немцы дали хорошего тумака Джону Булю. Это было бы на пользу Америке. Никогда не будет поздно бросить спасательный круг англичанам. За этот круг они заплатят хорошими кусками своей империи. Но захочет ли усилившаяся Германия разговаривать с Америкой, как равный с равным? Не страшно ли ее усиление для самой Америки? Да, всякий дрессировщик знает, что зверь становится опасен с того дня, как ему дадут отвесть теплой крови. Тогда он может броситься и на хозяина. Значит?.. Значит, нужно вести дела так, чтобы нацистский тигр всегда смотрел в руки укротителя. Перед зверем всегда должен быть выбор: кусок мяса или факел в морду!.. Такое положение можно сбалансировать. Разумеется, здесь есть свои трудности. Взять хотя бы проклятых джапов! Тройственный союз Германия – Япония – Италия в Штатах все еще легкомысленно принимают лишь за объединение противников Коминтерна. А это опасная комбинация, если дать ей волю. Рузвельт готов поставить сто против одного, что до этой «оси» додумались не в Берлине. Тут пахнет азиатскими мозгами. А может быть, плесенью Темзы?..

Тут мысль Рузвельта обратилась к России.

Россия! Опыт России – самый опасный из всего, что когда-либо противостояло капитализму. Это уже не идея, не философские постулаты кабинетных социалистов. Это осязаемая реальность нового мира.

Что можно было этому противопоставить? Только стремительное развитие самых далеко идущих обещаний рузвельтовского «Нового курса». Но все это уже всем надоело. «Новый курс» – это опять-таки барыш для Моргана и Рокфеллера.

Хорошо, что простой американец еще на что-то рассчитывает, он готов голосовать за Рузвельта и в третий раз, потому что ненавидит политиков-гангстеров и возлагает надежды на зачинателя «Нового курса»...

Ничего дурного не было в том, что демагоги-противники подняли крик, будто Рузвельт ведет Америку к социализму. Ничего дурного не было бы в том, если бы массы поняли это буквально. Нельзя недооценивать очарования слова «социализм» для простого народа. Но очень

печально, что даже в Вашингтоне нашлись глупцы, принявшие политические маневры президента за измену классу, который Господь Бог поставил во главе угла американского дома. Глупцы! Он же старается для спасения их всех от пропасти, к которой они несутся неудержимым галопом, своей ненасытной жадностью разжигая в массах ненависть к существующему порядку вещей...

Рузвельту кажется, что ему удалось бы без больших потерь справиться со всем, что противостоит его классу. Не страшны Германия и Англия, пожалуй, даже Япония... С нею можно будет временно сладить, пока не будет покончено с остальными, или, наоборот, покончить с нею первой руками остальных. Если посол Грю не совершенный дурак и будет выполнять инструкции Вашингтона, Япония не бросится на Штаты. Хэлл достаточно ясно инструктировал Грю: США рекомендуют японцам получить все, что они хотят и могут взять, повернув свою экспансию на северо-запад. США не станут защищать там ничего, за что империя Ямато сочла бы нужным сражаться. Пусть она ограничится в Китае тем, что приобрела. Пусть оставит в покое остальное и обратит свое воинственное внимание туда, где естественные ресурсы дадут ей ничуть не меньше, чем в Китае. Правда, Грю ни разу не услышал от Вашингтона слова «Россия», но ведь на то он и дипломат, чтобы понимать написанное между строк. А если он и не поймет – поймут сами японцы. У них есть там кое-кто поумнее Грю...

«Россия!..»

Видит бог, Рузвельт никогда не произносил этого вслух!..

Рузвельт вспомнил о проплывшем на вершине холма белом доме, о генерале Гранте... Вот о чем он поговорит с фермерами Улиссвилля: величие родины, могущество Штатов! В создании такого могущества должен принять участие каждый американец, которому не может не быть дорога истерия его родины.

Рузвельт любил выступать перед избирателями. В особенности, когда был уверен в расположении аудитории. А у него не было сомнений в добром отношении фермеров. Предстоящая встреча была ему приятна. Но с мыслью об Улиссвилле всплыло и воспоминание о том, что именно там в его поезд должен сесть Джон Ванденгейм. Рузвельт не любил этого грубого дельца, не признававшего околичностей там, где дело шло о наживе.

Рузвельт охотно уклонился бы от свидания с Джоном, если бы эта встреча не сулила возможности сладить углы в отношениях с рокфеллеровцами. Джон – это добрая половина Рокфеллера. Значит, нужно испить чашу, если Господь Бог не сделает так, чтобы Ванденгейм опоздал к приходу поезда. Что касается Рузвельта, то он, со своей стороны, сделал все возможное, чтобы Джон опоздал: попасть в Улиссвилль к заданному часу было делом нелегким.

Рузвельт взглянул на часы и нажал кнопку звонка.

– Приготовимся к митингу, Артур, – сказал он бесшумно появившемуся в дверях камердинеру.

Глава 5

Взгляд Ванденгейма упал на ветку дерева, робко просунувшуюся сквозь проволочную решетку станционной ограды. Большие тускло-голубые глаза Джона, на белках которых год от года появлялось все больше багровых прожилок, несколько мгновений недоуменно глядели на одинокую ветку. Можно было подумать, будто ее появление здесь было чем-то примечательным.

Джон подошел к ограде так медленно и настороженно, что, казалось, даже каждый его шаг был выражением удивления. Всякий, кто хорошо знал Джона и наблюдал его в течение многих лет, как это делал Фостер Доллас, с уверенностью сказал бы, что, по-видимому, в этой маленькой ветке нашлось что-то, что подействовало на сознание Ванденгейма сильнее обычных явлений, в кругу которых он вращался.

Железо и нефть, акции и шеры, контокорренто и онколь, конкуренты и дочерние предприятия, старшие и младшие партнеры, курсы, кризисы, демпинги – на малейшее изменение в любом из этих понятий мозг Джона реагировал с чуткостью тончайшего барометра. Он молниеносно высчитывал, как самый совершенный арифмометр, сопоставлял, наносил удары или санировал. Он давно уже перестал волноваться, взвешивая шансы прибылей и убытков. Нюхом, выработанным полувековой звериной борьбой с себе подобными, он определял завтрашнюю обстановку на бирже и, пользуясь мощью своих финансовых резервов, пытался изменить ее в свою пользу.

Волчий инстинкт потомственного разбойника Джон принимал за способность к расчету. Джон считал бы сумасшедшим того, кто попытался бы открыть ему глаза на истину и сказать, что все происходящее в его жизни в действительности является не чем иным, как погоней за добычей.

Джон полагал, что эта деятельность направлена к упрочению на веки веков его господства на бирже, в промышленности, в банках; его права повелевать миллионами людей, его права обращать их жизнь в существование, предназначенное для расширения без конца и предела его финансово-промышленной державы.

Собственно говоря, спорить тут не приходилось. Джон действительно был распорядителем судьбы миллионов людей, добывавших для него права и преимущества, людей, создававших для него положение короля банков и копеек, железных дорог и стальной промышленности, повелителя прессы. Ну с чем тут было спорить? Какой американец не знал, что законы американского образа жизни ограничивают волю Джона не больше, чем партии ограничивают самодержавие индийского набоба. Не стоило спорить и с тем, что Джон Третий обладал личным богатством неизмеримо большим, нежели национальное достояние иного государства. Все это было именно так, как представлял себе сам Джон, как представляли себе все волки его стаи.

Одно было совсем иначе, но это одно определяло сущность всего остального: самый факт подобного существования являлся отнюдь не плодом какого-то выдуманного самими ванденгеймами вечного божественного права, а лишь последствием бесправия, созданного экономикой, поставленной на голову.

Нынешнее состояние общественного строя, солью которого мнили себя ванденгеймы, можно было бы сравнить с огарком свечи. Ее пламя последними рывками тянулось к потолку. Чем сильнее оно вспыхивало, тем меньше оставалось стеарина в свече, тем ближе был ее конец. Вот-вот погаснет обугленный, отвратительно чадающий фитиль – последнее воспоминание о некогда гордой, увитой золотыми нитями свадебной свече капитализма.

Правда, сам Ванденгейм и другие подобные ему короли нефти и железа, повелители банков и биржи судорожно цеплялись за прогнившие балки шатающегося здания. Они еще пытались подпереть обваливающуюся крышу миллионами трепещущих человеческих тел, прино-

симых в жертву богу капитала в страданиях и ужасе истребительных войн. Но какое влияние на ход жизни могли оказать эти их усилия? Разве и до них жрецы Кали и Минотавра не нагромождали гекатомбы тел в судорожном стремлении удержать власть над оставшимися в живых?

Жертвы демпинга, тысячи банкротов, армии безработных и полчища голодных фермерских детей, чьи отцы производили хлеб для того, чтобы потом его сжигали в топках паровозов, чьи отцы снимали урожаи кофе, чтобы его топили в океане, чьи отцы взращивали виноград, чтобы его скормливали свиньям, – вот кто стоял по одну сторону водораздела американской жизни. Банки и заводы ванденгеймов, их виллы и яхты, любовницы и скаковые лошади, полиция и законы – по другую.

Но все эти противоречия не могли вызвать у Джона того удивления, какое его взгляд выражал сейчас, когда Джон медленно, будто в нерешительности, приближался к стационарной решетке. Что удивительного могло быть в тонкой веточке деревца, просунувшейся между ржавыми проволоками ограды? Она наивно тянулась навстречу тяжело шагавшему большому мужчине с красным лицом. Жидкие клочья седых волос неряшливо торчали из-под шляпы Джона, большие хрящеватые уши светились на солнце, как прозрачно-желтые морские раковины.

Не каждую ли весну тянулась эта ветка к солнцу? Из года в год все выше и выше карабкалась она от одной клетки изгороди к другой, вопреки проволоке, преграждавшей ей путь, вопреки ножницам садовника, отсекавшим новые побеги.

Была ли эта ветка доказательством того, что законы развития слепы и стремление этой ветки пробиться сквозь изгородь не что иное, как простая случайность? Или, наоборот, именно потому, что ножницы пресекали ее путь, эта ветка от года к году уходила все выше, тянулась туда, где ничто не мешало ей развиваться? Она будет цвести, зеленеть и превратится в большой крепкий сук, от которого пойдут новые, молодые, такие же робкие сначала, как она сама, побеги...

Впрочем, все это пустяки. Какое значение может иметь эта глупая ветка?

Чем она могла остановить на себе взгляд Джона? Едва распустившимися нежно-зелеными листочками?.. Или, может быть, его привлекли вон те кончики листков, едва-едва начинающие высываться из лопнувших почек? Чепуха! Разве в зимних садах его вилл не собрано все самое ароматное и самое зеленое, что может дать растительность земного шара?.. Однако, позвольте... когда же он последний раз видел эту зелень?..

Джон сдвинул шляпу на затылок, словно ее прикосновение ко лбу мешало вспомнить не только то, когда он видел зелень, но даже то, когда он в последний раз заходил в какой-нибудь из своих зимних садов. Вот в чем разгадка! Эти жалкие листки возбудили в нем интерес, потому что он отвык от зелени; уж бог весть сколько времени он вообще не видел ничего, кроме стен своих кабинетов.

Джон шагнул к изгороди и потянул к себе ветвь, покрытую липкими листками. В безотчетном желании уничтожить раздражавшую его молодую зелень Джон охотно сгреб бы своею большою пятерней все эти ветки. Но проволоочная сетка ограды мешала ему. Он сунул несколько пальцев в ячейку забора – ими невозможно было захватить ничего, кроме той единственной ветки, что просунулась между проволоками. Он несколько мгновений смотрел на нее, его ноздри раздувались, он старался втянуть в себя запах дерева, напоминавший что-то далекое.

Нет, он положительно не мог себе представить, что ему напоминает этот удивительный запах листьев!

Джон оборвал один маленький нежный листочек, растер его в пальцах и поднес их к носу; потом сделал то же самое с надувшейся, готовой лопнуть почкой.

Можно было подумать, что острый, горьковатый запах весны поразил его: вся его фигура в течение некоторого времени выражала полнейшее недоумение.

Затем он сгреб в кулак всю ветку и рывком обломил ее у самой ограды.

Помахивая ею у лица, как курильщик сигарой, в задумчивости зашагал по платформе.

Фостер Доллас, сидевший, сгорбившись, на станционной скамейке, исподлобья следил за патроном. Сегодня все представлялось ему нелепым. И то, что Джон, обычно такой собранный, казался растерянным, и то, что они с Джоном топтались тут, на этой маленькой станции. Точного времени прибытия президентского поезда не мог указать ни один железнодорожник. Все знали, что Рузвельт любил ездить не спеша. Он имел обыкновение останавливаться, где ему заблагорассудится, нарушая расписания, составленные администрацией Белого дома и службой охраны.

Вот уже час, как по всем расчетам поезд должен был подойти к этой маленькой станции, а его не было еще даже на перегоне.

И почему Рузвельт назначил свидание Ванденгейму именно здесь, где не было не только приличной гостиницы, но даже сколько-нибудь сносного бара?

Улиссвилль! Откуда берутся такие названия на карте Штатов? И кто он был, этот Улисс, – англичанин или француз, король или простой фермер? Вся история давно смешалась в памяти Фостера в какое-то мутное месиво, не имевшее никакого отношения к жизни... Улисс?! Ни один американец не носил такого имени.

И вот на станции, посвященной памяти какого то Улисса, должен остановиться поезд президента Соединенных Штатов. Зачем? Кто мог собраться тут для его встречи? Те несколько сотен фермеров, что толпятся за оградой? И к чему негры там, где президент собирается говорить с белыми?..

Нелепо, все нелепо... Даже то, что Ванденгейм, всегда такой властный и нетерпеливый, сегодня без конца шагает по платформе. Точно он постовой полисмен, а не один из тех, кто оплачивает избрание президентов, не один из тех, от кого зависит то, что будет с Рузвельтом через год: останется ли тот президентом Штатов или обратится в обыкновенного больного детским параличом богача, разводящего кактусы в Гайд-парке или занимающегося филантропией на своих Уорм-Спрингс.

Когда Ванденгейм поравнялся со скамейкой Долласа, тот подвинулся, освобождая место. Но Ванденгейм встал перед Долласом, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Там его пальцы продолжали нервно терзать остатки сорванной ветки.

– Как вы думаете, Фосс, кому это нужно, чтобы мы с пеленок до самой смерти непрестанно стремились что-то понять в происходящем? Едва ли Господь Бог создал нас только для того, чтобы мы ломали себе голову над всякой чепухой.

– О чем вы, Джон?

Доллас снова похлопал по доске скамьи, как бы желая сказать: если уж философствовать, то сидя. Ванденгейм грузно опустился на скамью.

– Я хочу знать, – сказал он, – стоит ли тратить хоть один цент на то, чтобы философы изобретали все новые системы, одна глупее другой. Ведь если мы заранее улавливаемся, что приемлемой будет только та философия, которая исходит из положения незыблемости существующего порядка, то за каким чертом тратить силы?

– А как же вы заставите человечество поверить тому, что именно так было, есть и будет?

– Что было, мало меня трогает. Что есть, то есть. Меня не терзает и грядущее в веках – черт с ними, с веками. Что будет на моем веку – вот единственное, о чем стоит думать!

– Я тоже не имею в виду то время, когда вместо нас землю заселят муравьи.

– Да, я где-то слышал об этом: человечество отыграло свою партию. Оно должно уступить место разумным насекомым. Они призваны освоить землю. Но на кой черт муравьям то, что я создал? Значит, глупость эти их насекомые!

– Муравьи – глупость, но не глупость мозги и души людей. В сей юдоли им необходимо утешение.

– Из вас вышел бы неплохой священник, Фосс.

– Бог даст, когда-нибудь, когда вам больше ничего не будет от меня нужно...

– Пойдете в монастырь?

– В этом нет ничего смешного, Джон, – обиженно пробормотал Доллас. – Я всегда был добрым католиком.

Тут раздались удары сигнального колокола, и чей-то звонкий голос прозвучал на всю платформу:

– Поезд президента!

Глава 6

Поезду президента оставалось уже немного пробежать до Улиссвилля, когда Гопкинс, вернувшись в свое купе, застал там Дугласа Макарчера, в недалеком прошлом генерала американской армии, а ныне филиппинского фельдмаршала.

Макарчер был в штатском. Заутюженные концы брюк торчали вверх, как форштевни утопающих кораблей. Яркий галстук в полосах, делавших его похожим на американский флаг, резко выделялся на белизне рубашки.

Макарчер был франтом. Недаром за ним утвердилась кличка «армейского денди». Он отличался манерой держаться вызывающе, говорить с подчиненными пренебрежительно, со штатскими заносчиво, с начальниками и равными тоном такой уверенности, что ни у кого не хватало решимости с ним спорить.

По внешности ему нельзя было дать его пятидесяти девяти лет. Энергичные черты сухого, видимо, хорошо массируемого и всегда до глянца выбритого лица; горбатый с большими нервными крыльями хрящеватый нос, хищно загнутый книзу; большой рот с плотно сжатыми, не толстыми, но и не сухими губами. Над узким высоким лбом виднелось несколько жидких прядей седеющих волос, тщательно расчесанных так, чтобы скрыть лысину. Такова была наружность этого филиппинского фельдмаршала, тайно прибывшего для доклада президенту.

В руках Макарчера был журнал. Он листал его. Но делал он это совершенно машинально. Его взгляд не отмечал при этом даже заголовков. Мысли генерала были далеко. Мысли досадные, беспокойные, совсем не свойственные этому человеку – всегда такому спокойному в силу гипертрофированной уверенности в себе. Но на этот раз, перед свиданием с президентом, когда Макарчер должен был доложить о положении на Тихом океане, всегда бывшем предметом пристального внимания Рузвельта, у генерала остался один вопрос, не решенный даже для самого себя.

Дуглас Макарчер сидел в Маниле, чтобы следить за всем, что делается в юго-западной части Тихого океана. Пользуясь положением Филиппин и прикрываясь мифом, будто США не имеют своей военной разведки; используя также то, что филиппинцы легко ассимилировались там, где американец всегда оставался белой вороной, – в Китае, в Индонезии и, наконец, в Японии, – Макарчер наладил шпионаж. Лично руководя разведкой, он был уверен, что она даст свои плоды в день, когда совершится неизбежное: когда зарево войны загорится наконец над водами Тихого океана.

Недавно агентура почти одновременно по японскому и маньчжурскому каналам принесла Макарчеру из ряда вон выходящее известие. Оно было так удивительно, что пришлось произвести двойную проверку, прежде чем признать его достоверность. Оно говорило о том, что уже в течение нескольких лет (не менее чем с 1936 года, а по непроверенным данным, даже с 1934-го) в пункте, именуемом Пинфань, в двадцати километрах от центра японской диверсионно-разведывательной деятельности в Маньчжурии – Харбина, функционирует секретное учреждение под начальством врача-бактериолога Исии Сиро. Там производится изучение техники и практики бактериологической войны, изготовление средств такой войны и испытание этих средств на живых объектах – людях и животных. Пока в числе средств, испытываемых японцами, разведка установила носителя сапа, сибирской язвы, ящура и еще какой-то болезни скота, а для людей – бактерии брюшного тифа, дизентерии и блох, зараженных чумой. Судя по сведениям, можно было предположить, что распространению чумы в тылу противника японцы придают особое значение. Они поспешно налаживают массовое изготовление блошиного «препарата». Средством распространения инфекции чумы должны явиться специальные фарфоро-

вые авиационные бомбы. Брюшной тиф и дизентерию понесут своим течением реки, идущие к врагу. Заразить скот можно засылкой через границу больных экземпляров животных.

Когда эти сведения подтвердились, Макарчер серьезно задумался: что делать с открытием? Он слишком хорошо знал постановку дела в американском военном ведомстве: стоит передать сообщение в Вашингтон, и через несколько недель им будут владеть все разведки мира, обладающие средствами, чтобы перекупить секрет у чиновников Пентагона. А было ли это в интересах Макарчера, в интересах Дяди Сэма?.. Если взглянуть на вещи здраво, то местоположение института Исии показывало, что бактериологическое нападение японцев нацелено прежде всего на Китай и на Советский Союз. Значит, разоблачение военно-бактериологических замыслов японцев было бы сейчас равносильно усилению позиций русских на их восточной границе. А американские политики предпочитают, полагал Макарчер, чтобы тогда, когда перед Красной Армией появятся танки Гитлера, восточная граница Советов оказалась под непрерывной угрозой, а может быть, и просто-напросто подверглась бы нападению японцев.

Но, с другой стороны, не была исключена угроза бактериологического нападения японцев на Соединенные Штаты. Где гарантия, что разведка Макарчера не прозевала сейчас или не прозевает в будущем перенесения филиалов господина Исии на острова Тихого океана с целью воздушной заброски этих прелестей в Штаты? А разве исключена возможность в одну неделю оборудовать любую авиаматку так, что она сумеет при помощи своих самолетов превратить все побережье Штатов в район повальной чумы или чего-нибудь в этом роде?.. Вообще, при коварстве японцев, от них можно ждать любой гадости.

Если смотреть на вещи с этой невеселой стороны, то едва ли можно найти оправдание тому, чтобы скрывать открытие от высшего командования американской армии...

Так выглядело дело с позиций, которые можно назвать служебными. Но, кроме этих позиций, к размышлениям над которыми его обязывали погоны генерала американской армии, хотя временно и снятые, у Макарчера была и другая точка зрения. Она имела мало общего с его официальным положением американского генерала и филиппинского фельдмаршала. Источником этой частной точки зрения являлась прочная личная связь Макарчера с деловыми кругами Штатов, доставшаяся ему в наследство от покойной первой жены – Луизы Кромвель, падчерицы миллионера Стотсбери. Теперь, когда приподнялась завеса над страшной «тайной Исии», генерал Макарчер не мог не подумать о том, какое влияние ее разоблачение могло бы оказать на дела коммерсанта Макарчера.

Интересы этого дельца являлись интересами компаний, в которые были вложены его средства. Было совершенно естественно для такого человека, как Макарчер, что, служа на Филиппинах, он много средств вложил в филиппинские дела. А, в свою очередь, эти дела, как правило, были наполовину японскими делами.

Если считать японо-американскую войну неизбежностью, то, пожалуй, разумно было теперь же открыть «дело Исии». Это нанесло бы удар военным приготовлениям японцев, способствовало бы оттяжке войны. У Макарчера было бы время вытащить хвост из филиппинских дел. Но... была ли предстоящая японо-американская война непременно условием гибели его капиталов, вложенных в японские дела? Разве война между генералом Макарчером и японскими генералами означала бы войну между дельцом Макарчером и японскими дельцами? Разве нельзя было бы и с японцами достичь такой же договоренности, какой достигли некоторые американские компании с немцами – о сохранении деловых связей на случай войны и о сбережении до послевоенных дней всех прибылей, причитающихся обеим сторонам от сделок военного времени? Японцы достаточно деловые люди. С ними можно договориться. Обладание «тайной Исии» намного повысило бы удельный вес Макарчера в сделках с ними. Пригрозив им разоблачением этой тайны, можно было бы добиться сговорчивости, о какой не может мечтать ни один другой американец...

Все это Макарчер многократно и тщательно обдумывал еще у себя, в апартаментах пятого этажа отеля «Манила». Оттуда открывается великолепная панорама на простор манильской бухты и на ее «Гибралтар» – укрепленный Коррехидор. Любуясь ими, Макарчер имел время сопоставить все «за» и «против»: сказать или не сказать, разоблачить или скрыть?.. Или, быть может, только подождать, посмотреть, что будет?..

Многие ли американцы держат в руках такие ключи, какие Бог вложил ему: «тайна Исии» и пушки Коррехидора!.. «Тайна Исии» и капиталы Луизы Кромвель!..

Зачем размахивать такими ключами напоказ всем дурням, когда можно подержать их пока в кармане?..

Вылетая из Манилы, Макарчер решил ничего не говорить никому, пока не побеседует с президентом. Рузвельт должен сам решить этот вопрос. Но по мере того, как время от времени, под ровный гул моторов, к Макарчеру возвращалась мысль об этом деле, уверенность в том, что президент примет правильное решение, делалась все меньше. Что если Рузвельт возьмет да и использует это открытие для какого-нибудь широкого политического жеста, хотя бы для утверждения своей репутации сторонника мира? Нельзя ведь не считаться с тем, что Штаты накануне президентских выборов. Рузвельту придется бросить на чашу выборных весов очень многое. Не так-то легко ему одержать верх над шайкой чересчур жадных дельцов, которым Тридцать второй стоит поперек горла... И разумно ли с точки зрения Макарчера-политика давать лишний козырь в руки президента, связанного с Морганом, когда сам генерал тесно связан деловыми нитями с Рокфеллером? Ведь Тихий океан и его острова – это прежде всего нефть, недра... Быть может, правильнее будет сказать об этом деле президенту после выборов?.. А если президентом будет тогда уже не Рузвельт?.. Ну что же, все зависит от того, кто займет его место. Быть может, создастся такая ситуация, что Макарчеру придется и промолчать... А время?.. Кому дано знать, когда и в каком направлении джапы нанесут свой первый удар?..

Так на кого же работает время?.. Имеет ли Макарчер право молчать?.. Положительно ему осточертели эти японские блохи. Пусть будет как будет. Сегодня он увидит президента и...

Макарчер ударил себя журналом по колену, потому что не мог сказать, что же последует за этим «и»: «он скажет Рузвельту» или «он не скажет»?..

При появлении Гопкинса Макарчер отбросил журнал и вопросительно посмотрел на вошедшего.

– Он скоро примет вас, – негромко проговорил Гопкинс и с болезненной гримасой опустился в кресло.

Бывая у Рузвельта, Гопкинс всегда крепился, разыгрывал если не вполне здорового человека, то во всяком случае не настолько больного, чтобы каждое лишнее движение доставляло ему страдание. Но, оставаясь без свидетелей или с людьми, которых не считал нужным стесняться, он переставал скрывать боли, непрестанно терзавшие его желудок.

По звонку Гопкинса вошел слуга, неся уже приготовленный резиновый мешок со льдом. Гопкинс откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. После довольно долгого молчания Гопкинс, не поднимая век, спросил:

– Слушайте, Мак... ведь это вы разогнали ветеранов в Вашингтоне, и я слышал, вам удалось купить их жоака... Кажется, его звали Уотерс?

– Это было несложно, – без смущения ответил Макарчер. – Они подыхали от голода. За возможность кормить своих щенят этот Уотерс дал покончить с пресловутым походом ветеранов ценою некоторых потерь с их стороны.

– А с вашей?

– Не помню.

– Трудно себе представить, чтобы вы, Мак, могли что-нибудь забыть, – с недоверием сказал Гопкинс. – При вашей слоновой памяти.

– Я могу наизусть повторить вам любую главу Цезаря или свой доклад министерству, сделанный десять лет назад, но расходовать память на чужие дела... – Макарчер пренебрежительно пожал плечами.

– Разве дело с Уотерсом не было вашим делом?

– Финансовой стороной его ведала секретная служба.

Гопкинс лениво поднял руку в протестующем жесте:

– Я имел в виду потери в людях.

– О, я думал, вас интересуют доллары!.. Нет, людей я не потерял. Кажется, несколькими солдатам набили шишки камнями – вот и всё.

– Кто навел вас тогда на мысль стовориться с их предводителем? Ведь раньше вы никогда не занимались умирением голодных.

– Лично я – никогда. Но первыми звуками, какие я запомнил в моей жизни, были сигналы горна. Вы забыли: я родился в форте Литл-Рок. Лучший военно-политический урок для меня заключался в том, что некий капитан филиппинской армии повстанцев по имени Мануэль Квесон отдал свою саблю не кому-либо иному, а моему отцу генералу Артуру Макарчеру. А теперь этот самый мистер Квесон – президент Филиппин.

– Вы полагаете, что Уотерс тоже сделал карьеру, после того как продал вам ветеранов?

– Черт его знает! Возможно, что и он председательствует в каком-нибудь профсоюзе, не знаю. Это меня не занимает.

– Расскажите-ка, что творится у вас там, на островах? – спросил Гопкинс с интересом, который на этот раз был неподдельным. – У каждого государства есть своя ахиллесова пята, и стоит мне задуматься о Филиппинах, как начинает казаться, что наша ахиллесова пята именно там, на этих островах.

– У себя в Маниле я этого не ощущаю, – с уверенностью заявил Макарчер.

– Забыли, как происходило их присоединение к Штатам?

– Я знаю об этом не столько по учебнику истории, сколько по рассказам отца, – тоном, в котором звучало откровенное презрение к официальной американской версии, произнес Макарчер.

Это не смутило Гопкинса.

– Я говорю именно об этой – не канонической, а фактической стороне дела. Мне всегда мерещится смута на ваших островах. Число филиппинцев, которые думают, что счастье их страны вовсе не в том, чтобы быть нашей колонией, с каждым годом не уменьшается, а увеличивается. Неверно?

– Может быть, и верно, если не рассматривать факты с надлежащих позиций.

Гопкинс вопросительно посмотрел на генерала:

– Какие же позиции вы называете надлежащими?

– Мои, – твердо произнес Макарчер, но тут же поспешно добавил: – Американские. Меня не беспокоит то, что происходит внутри этого островного котла. У меня хватит сил завинтить его крышку.

– Знаете: «Самая непрочная власть та, которая думает, что может держаться на острие штыка».

– И тем не менее я вынужден повторить слова покойного отца, ставшие для меня заповедью: «Филиппинцы нуждаются в военном режиме, приколоте к их спинам американским штыком».

Гопкинс покачал головой:

– Времена изменились, Мак... К тому же приближаются выборы. Не завидую президенту, который вслух повторил бы сентенцию вашего отца.

– Как известно, – с усмешкой проговорил Макарчер, – президент Мак-Кинли тоже чурался подобных слов, как черт ладана. Тем не менее именно этому «антиимпериалисту» при-

надлежит замечательная речь. Вспомните-ка... – И Макарчер со свойственной ему точностью памяти, так, словно читал по открытой книге, воспроизвел достопамятную речь Мак-Кинли в конгрессе. Президент США утверждал, что он не мог принять никакого решения относительно Филиппин, пока на него не снизошло просветление «свыше»:

«Я каждый вечер до самой полуночи расхаживал по Белому дому и не стыжусь признаться вам, джентльмены, что не раз опускался на колени и молил всемогущего Бога о просветлении и руководстве. В одну ночь мне пришли в голову следующие мысли – я сам не знаю как:

1. Мы не можем вернуть Филиппинские острова Испании – это было бы трусливым и бесчестным поступком.

2. Мы не можем передать Филиппины Франции или Германии, нашим торговым соперникам на Востоке, – это была бы плохая и невыгодная для нас экономическая политика.

3. Мы не можем предоставить филиппинцев самим себе, так как они не подготовлены для самоуправления и самостоятельность Филиппин привела бы вскоре к такой анархии и к таким злоупотреблениям, которые были бы хуже испанской войны.

4. Для нас не остается ничего иного, как взять все Филиппинские острова, воспитать, поднять и цивилизовать филиппинцев и привить им христианские идеалы, ибо они наши собратья по человечеству, за которых также умер Христос.

После этого я лег в постель и заснул крепким сном».

Закончив цитировать, Макарчер громко рассмеялся, но, внезапно оборвав смех, наставительно произнес:

– Мало кто у нас помнит ночь на четвертое февраля тысяча восемьсот девяносто восьмого года под Манилой... Советую вам припомнить это событие и быть уверенным: если нужно, такая ночь повторится в тысяча девятьсот сорок шестом году. Это может вам гарантировать высшее командование Филиппин...

Он вынул необыкновенно длинную папиросу и стал не спеша ее раскуривать, словно ни секунды не сомневался в том, что собеседник будет терпеливо ждать, пока он не заговорит снова.

И, как это ни странно было для Гопкинса с его нетерпением и нетерпимостью, с его привычкой не считаться ни с кем, кроме Рузвельта, Гарри действительно ждал.

Макарчер заговорил, но речь его на этот раз была краткой.

– Вот, собственно говоря, и вся суть вопроса о так называемой «независимости» Филиппин.

Он умолк и затянулся с таким видом, как будто разговор был окончен. В действительности его разбирало любопытство узнать, что ответил бы на его последние слова президент. Никто не мог бы этого сказать лучше Гопкинса. Но Макарчер не задал прямого вопроса. А Гопкинс не проявил никакого желания говорить. Он полулежал со льдом на животе и казался равнодушным ко всему на свете.

Подумав, Макарчер сказал:

– Знаете, какую трудно поправимую ошибку совершили тогда наши?

– В чем? – не открывая глаз и еле шевельнув губами, спросил Гопкинс.

– В деле с Филиппинами.

Гопкинс подождал с минуту.

– Ну?..

– Не сунули себе в карман Формозу вместе с Филиппинами.

Гопкинс приподнял веки и удивленно посмотрел на генерала.

– Филиппины – это Филиппины, а Формоза...

Он пожал плечами и снова опустил веки.

Макарчер зло засмеялся:

- Мы напрасно позволили джапам проглотить этот кусок.
- Когда-нибудь он застрянет у них в горле.
- Черта с два!
- Рано или поздно китайцы отберут его обратно.
- Только для того... чтобы он стал нашим.
- Опасные идеи, Мак...
- Формоза должна стать американским Сингапуром. Она даст нам в руки ключи Китая.

Мы никогда, слышите, Гарри, никогда не сможем помириться с этой ошибкой! Рано или поздно мы должны будем ее исправить... хотя бы руками китайцев.

- Не понял.
- Пусть это будет началом: «Формоза для формозцев!» Прогнать оттуда джапов...
- Чтобы сесть самим?
- Непременно. Держа в руках Формозу, мы всегда будем хозяевами юга Китая.
- В этом есть что-то здоровое, – пробормотал Гопкинс. – Но из-за Формозы мы не стали

бы воевать с джапами.

– Не мы. Пусть воюют китайцы... А там... – Макарчер выпустил тонкую струйку дыма, послав ее к самому потолку купе. – Там... – Он покосился на Гопкинса и как бы вскользь проговорил: – Если бы это дело поручили мне...

– Вы втянули бы нас черт знает в какую передрыгу, – раздраженным тоном проворчал Гопкинс. – Перестаньте, Мак. Мы никогда на это не пойдем, прежде чем будет решен главный вопрос на Тихом океане – мы или японцы?

– А тогда?

– Ну, тогда все будет выглядеть совсем иначе. Тогда мы, вероятно, охотно развяжем вам руки.

– Если же дела пойдут так, как вы думаете...

– Я ничего не думаю, Мак, решительно ничего!

Макарчер усмехнулся:

– Хорошо. Если дела пойдут так, как думаю я, первым шагом будет Формоза...

– История пойдет закономерно, – задумчиво проговорил Гопкинс, – мы должны оказаться восприимчивыми всего, что вывалится из рук Англии и Японии, вообще всех.

– Тогда мы возьмем себе Сингапур и Гонконг. Быть может, речь пойдет об Австралии и Новой Зеландии. Когда развалится Британская империя, а она развалится как дважды два, мы поможем ей в этом. Самостоятельное существование Австралии и Новой Зеландии – абсурд. Обеспечить им место в мире сможем только мы, американцы. Мы знаем, что нам нужно на Тихом океане. Эта вода будет нашей водой, Гарри, только нашей. Мы никого не пустим туда, после того как к чертовой матери разгромим японцев... и англичан.

– Вон как! – иронически проговорил Гопкинс.

Макарчер утвердительно кивнул головой, выпуская струю дыма, потом грубо повторил:

– К чертовой матери! Мы будем полными дураками, если не сумеем подготовить этот разгром, доведя джапов до полусумасшествия войной в Китае. Понимаете, Гарри, мы поможем китайцам до тех пор кусать японцев, пока у тех не появится пена у рта. Я готов собственными руками стрелять в дураков, которые еще пытаются пищать, будто Япония не главная наша беда. Да, правда, где-то там, в далекой перспективе, я вижу дело поважнее, покрупнее, чем драка с Японией, – я имею в виду ликвидацию красной опасности в корне, раз и навсегда. Но все это потом. Сначала Япония, и еще раз Япония. Китайцы должны вымотать ей кишки. А она китайцам. Угроза овладения Азией проклятыми островитянами должна быть предотвращена раз и навсегда. Англия – это тоже не так сложно. Азия должна быть нашей. Но только очень близорукые люди могут думать, что нашей задачей является полное уничтожение Японии. Понимаете?

– Пока не очень, – меланхолически ответил Гопкинс.

– Жаль. Это так просто: Япония должна стать нашим опорным пунктом для разгрома Советов.

– Не слишком ли много разгромов и не слишком ли много баз, а?

– Ровно столько, сколько нужно, чтобы получить то, что мы хотим. Мы никогда не займем принадлежащего нам места, если вздумаем месить тесто своими руками. Японские офицеры и унтер-офицеры составят костяк той многомиллионной китайской армии, которая одна только и сможет занять позиции по нашей границе с Советами.

Гопкинс рассмеялся и тотчас сделал болезненную гримасу:

– Милый Дуглас, вы что-то напутали: у нас нет ни одной мили общей границы с русскими!

– А будет десять тысяч! – теряя равновесие, крикнул Макарчер. – Вся китайско-советская граница, вся китайско-монгольская граница.

– Э, да вы, оказывается, самый отчаянный мечтатель, какого я видел! – насмешливо проговорил Гопкинс. – Не знал за вами такой черты.

– К сожалению, Гарри, вы мало меня знаете.

– Вы полагаете?

– А нам нужно понять друг друга. – Макарчер склонился к Гопкинсу, продолжавшему полулежать с закрытыми глазами, и насколько мог дружески проговорил: – Вдвоем мы могли бы доказать хозяину...

И, не договорив, стал ждать, что скажет Гопкинс. Но тот хранил молчание.

Макарчер внимательно вглядывался в подергивающееся судорогой боли лицо Гопкинса. Можно было подумать, что генерал взвешивает: стоит ли говорить с этим полутрупом, который не сегодня-завтра уйдет в лучший мир и перестанет быть вторым «я» президента?

Поезд остановился. Макарчер прочел название станции:

– Улиссвилль.

– Не подходите к окну, – поспешно сказал Гопкинс. – Вас могут увидеть журналисты.

– А-а, – протянул Макарчер. – Хозяин будет говорить?

– Положение с фермерами паршиво, а выборы на носу.

– Он опять выставит свою кандидатуру? – спросил Макарчер.

– Пока ни в коем случае!

– А как же с переизбранием?.. Нужно же, чтобы американцы знали, что могут голосовать и за него.

– Своевременно узнают. Может быть, в последний момент.

– Почему не теперь? Ведь остальные кандидаты уже объявлены.

– Формально выставить свою кандидатуру значило бы для ФДР превратиться из президента в кандидаты! Это только помешало бы его работе.

– Значит, в последний момент? – в сомнении спросил Макарчер.

– И безусловно будет избран, – уверенно ответил Гопкинс. – Никто не может предложить американцам ничего более реального.

– Чем обещания Рузвельта?

– Зависит от того, как обещать. И кроме того, никто не может обвинить нас в том, что если бы не сопротивление дураков, мы успели бы многое выполнить... из того, что обещали.

– Посоветуйте хозяину на этот раз поднажать на морскую программу.

– Об этом его просить не приходится.

– Морские дрожжи все еще бродят?

– Он по-прежнему держит под подушкой Мехена.

– Избиратель не может не понимать, что строительство хорошей серии больших кораблей – хлеб для сотен тысяч безработных.

– Но, увы, и налогоплательщик понимает, что этот хлеб будет куплен за его счет, – со вздохом сказал Гопкинс. – А кроме того, средний американец знает, что судостроительные

компании нахватают в сто раз больше, чем достанется тем, кто будет своими руками строить корабли. Народ умнеет не по дням, а по часам. Тут вам не Филиппины, Мак.

– Не воображайте, что у нас там одни идиоты. Квесону приходится довольно туго.

– И если бы не ваши штыки?..

Макарчер ответил неопределенным пожатием плеч.

Гопкинс спросил:

– А как у вас работает Айк?

Казалось, вопрос удивил Макарчера. После некоторого молчания он, в свою очередь, спросил:

– Вы имеете в виду Эйзенхаммера?

– Да.

Собеседники не могли пожаловаться на простодушие, но в этот момент оба они мысленно бранили себя. Гопкинс был недоволен тем, что у него вырвался этот вопрос, совершенно некстати выдавший генералу его, Гопкинса, интерес к подполковнику Эйзенхаммеру – военному советнику филиппинского «фельдмаршала». Макарчер же досадовал на себя: только сейчас ему пришло в голову то, о чем он должен был давно догадываться: ведь Дуайт Эйзенхаммер, которого он сам сделал на Филиппинах из капитана полковником, был человеком президента, посланным в Манилу для того, чтобы Рузвельт мог знать каждый шаг его, Макарчера.

Это внезапное открытие неприятно поразило генерала: Эйзенхаммер был в курсе многих его дел. Не мог ли он разнюхать кое-что и о «тайне Исии»? Если так, то, значит, тайна вовсе уже и не тайна для ФДР. Какие выводы нужно из этого сделать?.. Сказать или не сказать?..

Макарчер решил прощупать Гопкинса.

– Может быть... – начал было он, но вдруг умолк, прислушавшись к происходящему на платформе Улиссвилля.

Чем дальше он слушал, тем озабоченней становилось выражение его лица. Глубокая морщина прорезала его лоб сверху донизу.

– Что за чертовщина! – сердито проворчал он, сделав было движение к окну. Но Гопкинс испуганно удержал его.

– Не лезьте на передний план!

– Вы только послушайте! – с возмущением воскликнул Макарчер, жестом предлагая Гопкинсу соблюдать тишину.

Глава 7

С платформы, где происходил митинг фермеров перед президентским вагоном, до Макарчера отчетливо доносились чьи-то слова:

– ...Мы, люди американского захолустья, чрезвычайно тронуты, мистер президент, тем, что вы заглянули сюда. Вы рассказали нам о сыне нашего народа – генерале Улиссе Гранте. Многие из стоящих здесь ничего о нем не знали...

Рузвельт благодушно перебил оратора:

– Это следует отнести к их плохой памяти: нет такого учебника истории, где не говорилось бы о генерале и президенте Штатов – Улиссе Гранте.

Кто-то на платформе вздохнул так громко, что было слышно в купе Гопкинса. Над толпою пронесся смешок.

– Если бы вы знали, мистер президент, сколько из стоящих здесь ребят забыли, каким концом карандаша следует водить по бумаге. – Толпа подтвердила эти слова одобрительным гулом. – Нам был очень интересен и полезен ваш рассказ, мистер президент. – Макарчеру почудилось в тоне оратора злая ирония. Генерал с трудом заставлял себя, не двигаясь, сидеть в кресле. – Отныне мы будем гордиться тем, что живем в местах, где сражался такой американец, как Грант. Тут проливали кровь наши предки за честь и свободу Штатов, за конституцию Вашингтона и Линкольна, за лучшее будущее для своих детей и для детей своих врагов – южан.

– Это вы очень хорошо сказали, мой дорогой друг, – послышался одобрительный голос Рузвельта. – Очень хорошо! Именно так оно и было: кровь солдат Гранта лилась за счастье не только для Севера, но и для Юга. За счастье всех американцев, без различия их происхождения и цвета кожи. Это была великая битва за дело демократии и прогресса.

Рузвельт умолк, очевидно вызывая оратора на продолжение речи.

– Мы хотим вам верить, мистер президент, как, вероятно, верили солдаты Гранту, что дерутся за свою свободу и свободу братьев негров, за дело демократии и прогресса. Но...

– Зачем он дает говорить этому нахалу? – возмущенным шепотом спросил Макарчер. – «Мы хотим вам верить»! Если хозяин не одернет его, я сам...

– Сидите смирно, Дуглас! – спокойно отрезал Гопкинс. – Хозяин знает, что делает.

Оратор на платформе продолжал:

– ...но нам хочется знать, почему дети этих героев и мы, дети их детей, не имеем теперь ни демократии, ни хоть какого-нибудь прогресса в нашей жизни?

– Разве мы не имеем всего, что гарантировала нам конституция? – спросил Рузвельт.

– О ком вы говорите, мистер президент, – о вас или о нас?

– Разве не все мы, сыны своей страны, равны перед конституцией и Богом? – спросил Рузвельт.

Теперь голос оратора, отвечавшего ему, прозвучал почти нескрываемой насмешкой:

– Нам хотелось бы, мистер президент, рассудить свои дела без участия Бога.

– Вы атеист?

Последовал твердый ответ:

– Да, сэр.

– Думаете ли вы, что это хорошо?

– Да, сэр.

– И не боитесь, что когда-нибудь раскаетесь в своем неверии?

– Нет, сэр.

– Быть может... на смертном одре?

– Нет, сэр.

– Уж не солдат ли вы... судя по ответам? – весело спросил Рузвельт с очевидным намерением переменить тему.

– Солдат, сэр.

– Быть может, даже ветеран войны в Европе?

– Даже двух войн в Европе, сэр, – весело, в тон президенту ответил его собеседник.

– Была только одна мировая война.

– Ее называли мировой потому, что в ней участвовало несколько государств Европы и Америки?

– Разумеется.

– Так не является ли мировой войной и та война, что идет сейчас в Испании при участии людей со всех концов мира?..

Макарчер негромко свистнул:

– Так вот он из каких!

Между тем Рузвельт недовольно сказал:

– Соединенные Штаты в этой войне не участвуют.

– Когда я воевал в Испании, мне казалось другое.

– Вот как?.. А в чем же вы видели участие Штатов?

– В американском пособничестве Франко.

– Я вас не понимаю, друг мой! – драматически воскликнул Рузвельт.

– А между тем это так просто, мистер президент. Разве не правительство США наложило эмбарго на вывоз оружия в республиканскую Испанию?

– Было бы несправедливо давать оружие республиканцам и не давать националистам.

– Какой же Франко националист? Он просто изменник и мятежник, сэр.

– Готов с вами согласиться, – мягко сказал Рузвельт, – и от души сожалею, что вы потерпели неудачу в борьбе против него.

– Дрались-то мы не так уж плохо, да очень трудно было драться голыми руками против пулеметов и пушек. Кстати говоря: против американских пулеметов и пушек... Мы там не раз спрашивали себя: «Как же это так? На вывоз оружия в Испанию наложен запрет, а американские пулеметы – вот они, стреляют по нашей добровольческой бригаде Линкольна». Спасибо товарищам, которые были в курсе дела. Они объяснили: на вывоз оружия в Германию и Италию эмбарго не наложено. А оттуда прямая дорога к Франко.

Толпа, по-видимому, стояла недвижима и молчалива – был слышен малейший шорох на платформе. Потом раздался негромкий голос Рузвельта:

– Это новость для меня, то, что вы говорите... Очень сожалею, что я не знал об этом раньше... Но нет сомнения: Бог покарает тех, кто использовал наше доверие и обманном образом снабжал Франко оружием. Да, я верю: их преступление будет наказано Господом, – с пафосом произнес Рузвельт.

– Откровенно говоря, мы не очень в этом уверены.

Хорошо тренированный голос Рузвельта задрожал, как у трагика на сцене:

– Вы не верите в высшую справедливость?

– У бедных людей нет времени на слишком частое общение с небом, сэр.

– А разве есть что-либо более важное и отрадное в жизни, чем обращение к Богу?.. Мне странно и... страшно это слышать от американца.

В голосе президента прозвучал такой укор, что толпа реагировала одобрительным роко-том, особенно с той стороны, где теснились женщины.

Макарчер с иронической улыбкой посмотрел на Гопкинса, но тот, казалось, проявлял очень мало интереса к происходившему. Макарчеру даже показалось, что Гопкинс дремлет. Во всяком случае, веки его были опущены, и руки в сонной неподвижности лежали скрещенными

на мешке со льдом. Макарчера рассердило это равнодушие. Чтобы нарушить покой Гопкинса, он спросил:

– Как это вам удалось: наложив эмбарго на вывоз оружия к республиканцам, не запретить давать его противной стороне?

Гопкинс поднял веки и несколько мгновений непонимающе смотрел на генерала. Тому пришлось повторить вопрос.

– Мы здесь совершенно ни при чем, – нехотя ответил Гопкинс.

– Тем не менее это факт: наше оружие и боеприпасы поступают к Франко.

– Видите ли, друг мой, – все с прежней неохотой проговорил Гопкинс, – коммунисты действительно поставили этот вопрос. Они даже пытались поднять публичный скандал, требовали наложения эмбарго на вывоз оружия в Германию и Италию на том основании, что эти страны держат свои войска на Пиренейском полуострове. Но хозяин спросил тогда Хэлла: есть ли основания считать Германию и Италию находящимися в состоянии войны с Испанией? Хэлл запросил Риббентропа и Чиано: полагают ли они, что их страны находятся в войне с Испанской республикой? Те ответили отрицательно. Хэлл и решил, что наложение запрета на немецкие и итальянские заказы было бы преждевременным. А кому немцы перепродавали наше оружие – какое нам до этого дело?..

– Верное решение, – безапелляционно заявил Макарчер и снова сосредоточил внимание на том, что происходило на платформе.

Тон оппонента Рузвельта повышался с каждым новым словом:

– ...Мы имеем право знать, почему нам так трудно зарабатывать свой кусок хлеба? Почему миллионы наших братьев, белых и черных, на фермах и в городах, слоняются в тщетных поисках работы?

– А разве Новый курс не сократил числа безработных почти вдвое? – возразил Рузвельт. – Разве доход рабочего класса Соединенных Штатов не увеличился по крайней мере на семьдесят миллионов долларов в день? Это не пустяки, мой друг.

Рузвельт произнес это так мягко, почти ласково, что сочувствие толпы, как думал Макарчер, должно было вот-вот склониться на сторону президента, но тут его оппонент воскликнул:

– Семьдесят миллионов, говорите вы? Хорошая цифра, мистер президент! Если не считать того, что ценности, производимые людьми, которым бросили семьдесят миллионов, стоят по крайней мере семьсот. А в чьи карманы идут остальные шестьсот тридцать миллионов?

– Полагаю, мой друг, – мягко возразил Рузвельт, – что присутствующих больше интересует вопрос о продуктах сельского хозяйства, чем заработок городских рабочих.

– Хорошо, мистер президент, – произнес оратор. – Поговорим о сельском хозяйстве. Почему эти фермеры получают за свой хлеб ровно десятую долю того, что он стоит на рынке? Почему девять десятых идут в карманы хлебных монополий? Почему за счет хлеба, которого не хватает детям фермеров, господа с хлебной биржи делают себе золотые ванны, вставляют бриллианты в каблуки своих дам? Почему при малейшей попытке самих фермеров организоваться, чтобы продать возвращенный их руками хлеб по мало-мальски сносной цене, земельные компании тотчас лишают их земли, скупщики сбивают цены и хлеб сжигают в топках паровозов? Говорят, что Штатами правят шестьдесят богатейших семейств Америки. Правда ли это, сэр?

– Предвыборный прием, дружище, – сказал Рузвельт и рассмеялся. Но на этот раз в его смехе не было обычной непринужденности. – Каждый американец знает, что страной управляет правительство, ответственное перед конгрессом, избранным свободным голосованием.

– Мы не против свободного голосования, мистер президент. Но нам не нравится то, что в каждом штате делают политические боссы. Мы просили бы вас прихлопнуть эту лавочку, сэр. Пожалуй, достаточно того, что мы знаем о Томе Пендергасте. Так кажется нам, простым американцам. Вы – наш президент, которого мы все очень уважаем, не правда ли, друзья?

По-видимому при этих словах оратор обернулся к толпе, так как слышались одобрительные возгласы:

– Уважаем! Конечно, уважаем! Да здравствует Рузвельт!

Оратор с деланным добродушием продолжал:

– Вы, как самый уважаемый из президентов, каких знала Америка в нашем веке, разумеется, не меньше нас заинтересованы в том, чтобы в стране был порядок. За какую же программу мы должны голосовать в наступающей кампании, когда вы или другой претендент выставит свою кандидатуру на пост нашего президента?

Воцарилось краткое молчание. Потом слышался спокойный и снова, как всегда, приветливый голос Рузвельта.

– Наверно, есть еще вопросы, интересующие вас? Говорите же. Я сразу отвечу на все.

Раздалось одновременно несколько голосов. Потом заговорил кто-то один. Потом опять сразу несколько человек. Это было так не похоже на обычные встречи Рузвельта с избирателями, что даже Гопкинс беспокойно заерзал в кресле.

Дверь купе приотворилась, и запыхавшаяся секретарша президента передала Гопкинсу записку. Тот быстро развернул ее и пробежал наспех набросанную рукою Рузвельта строчку: «Придумайте повод для отправления поезда». Было очевидно, что Рузвельт хочет покончить с неудачным митингом без необходимости отвечать на посыпавшиеся со всех сторон вопросы раздраженных фермеров.

Гопкинс отбросил пузырь со льдом и выбежал из купе. Макарчер осторожно приблизился к окну и, прикрывшись краем шторы, посмотрел на платформу.

Впереди всех фермеров стоял человек, чья речь привела генерала в такое раздражение. Приглядевшись к нему, Макарчер нахмурился, лицо его отразило напряжение памяти. Наконец он с облегчением свистнул и пробормотал: «Я знаю этого парня. Это он пытался тогда помешать моему сговору с Уотерсом, а потом, когда мы того все-таки купили, этот парень, говорят, и изобличил его... Коммунист... коммунист...» Макарчер старательно тер лоб, сиюсья вспомнить имя оратора. Потом быстро набросал на полях журнала: «Во что бы то ни стало узнайте имя парня в рубашке с синими клетками. Мак», – и, вызвав звонком слугу, послал журнал Гопкинсу.

Через две-три минуты Макарчер услышал, как Рузвельт дружески проговорил:

– Сейчас я отвечу на ваши вопросы, мистер... мистер...

– Стил, мистер президент, – охотно ответил оратор. – Айк Стил.

– Вы, я вижу, не из здешних мест, Айк?

– Да, я тут не всегда живу, сэр, это верно.

– Мастерской, приехали с тракторами? – дружески продолжал Рузвельт.

– С сельскохозяйственными машинами, сэр, – ответил Стил.

– Прекрасное дело, дружище Айк... Надеюсь, что еще застану вас здесь на обратном пути, и чувствую, что мы станем друзьями.

В этот момент из соседнего окна вагона высунулся Гопкинс.

– Сдается мне, что на ваши вопросы мог бы прекрасно ответить наш общий друг, – ваш и мой, – мистер Браудер, – крикнул он Стилу.

Тот помедлил с ответом.

– Я не могу верить Браудеру, если его хвалят вы, сэр.

Гопкинс рассмеялся его словам:

– Вы что-то имеете против него, мистер Айк!

Стил нахмурился.

– Он чересчур охотно и слишком ловко оправдывает все, что вы делаете, сэр. В особенности против нас, коммунистов... – закончил Стил.

Неожиданно, без всякого предупреждения или сигнала, вагон президента поплыл мимо удивленных фермеров.

Гопкинс крикнул фермерам:

– Президент желает вам всего хорошего...

Вслед поезду раздалось несколько жидких хлопков.

У окошка вагона сидел Рузвельт и пытался взглядом отыскать на удаляющейся платформе фигуру Стила. У президента был вид до крайности удивленного человека.

– Они вели себя так, словно здесь каждый день бывают президенты, – раздраженно сказал Гопкинс.

Рузвельт не обернулся. Через несколько минут он задумчиво проговорил:

– Мне кажется, что почва уходит из-под нас, как люк из-под ног приговоренного.

Гопкинс подошел обеспокоенный. Рузвельт редко говорил таким тоном. Гопкинс стоял перед ним с таким же ошеломленным выражением, с каким сам Рузвельт за несколько минут до того смотрел на Стила.

– Кто укажет мне способ остановить время?..

Гопкинсу показалось, что президент разговаривает с самим собой. В больших, обычно таких веселых глазах Рузвельта отражалось настоящее отчаяние. Гопкинс смотрел на это лицо, с каждой секундой делавшееся старше на целое десятилетие. Гопкинсу стало страшно. Ступая на цыпочках, он попятился к двери.

Глава 8

Ванденгейм не заметил, как, отхлебывая маленькими глотками, опустошил третий стаканчик крепкого коктейля. Он только обратил внимание на то, что стаканчик Рузвельта оставался нетронутым. Разговаривая, президент медленно, словно машинально, помешивал свой коктейль соломинкой.

Президент говорил о пустяках. Он отлично знал, что эти пустяки не только не интересны посетителю, но выводят его из себя. Не давая Ванденгейму заговорить, он настойчиво, не торопясь, рассказывал длинную историю о том, как с детства мечтал поохотиться на перепелов и как ему все не удавалось осуществить свое желание, пока наконец он не решился отбросить все дела и уехать на охоту. И именно тут появились первые симптомы тяжелой болезни, навсегда лишившей его возможности помышлять об охоте.

– Это было бы неплохой темой для карикатуристов республиканской прессы: президент, пытающийся гоняться за перепелами в кресле на колесах...

Рузвельт собирался перейти к следующему рассказу, но тут Ванденгейм понял, что единственная цель этих рассказов – оттянуть разговор. А ради этого разговора он проделал молниеносный перелет к Улиссвиллю. Джону стало ясно, почему свидание было назначено в таком захолустье и почему было указано такое время свидания, что не опоздать к нему можно было только ценою ночного полета. И теперь еще эти рассказы о перепелах! Все стало ясно Ванденгейму: Рузвельт хотел избежать свидания и разговора с ним.

Стоило Джону сделать это открытие, как все его благие намерения – держаться так, как подобало в обществе президента, чтобы мирно уладить претензии, накопившиеся у Джона и его единомышленников к правительству и к демократической партии, – все улетучилось. Джон намеренно не пошел на свидание с вице-президентом Уилки, не стал разговаривать ни с одним министром-республиканцем. Он хотел найти общий язык с президентом-демократом. Джону казалось, что здравый смысл дельца вынуждает его в предстоящих выборах дать в избирательный фонд Рузвельта вдесятеро больше, чем он мог бы бросить на избрание любого другого кандидата-республиканца. Джону казалось, что он понял наконец истинный смысл политики Франклина Рузвельта и разгадал этого человека, который хочет базироваться не только на поддержке Моргана, но ищет возможности опереться и на другую базу – на Рокфеллера и на него, Джона.

Так почему же Рузвельт не хочет поговорить с Ванденгеймом откровенно?

Не может же он не понимать, что, явившись инициатором и творцом двуединой политики руководящих партий Америки, он тем самым более чем когда-либо поставил вопрос о своем переизбрании на третий срок в зависимость от республиканцев. Что за странную игру ведет Рузвельт, отделяваясь пустяками от разговора с таким республиканцем, как он, Джон Ванденгейм?

Джон решил идти напролом. Один за другим задавал он Рузвельту вопросы, игравшие такую большую роль не только для него, Джона, но и для всех, чьи интересы завязались в плотный узел вокруг современного положения в Европе.

Однако всякий раз, когда Джон пытался прямо поставить вопрос, Рузвельт ускользал от ответа. Невозможно было понять, согласен ли он с интерпретацией, которую дает его словам Ванденгейм, или протестует против нее.

Стоило Джону немного отвлечься, поддавшись на предложение приготовить новый стаканчик коктейля, как нить разговора оказалась им упущенной. Ею снова овладел Рузвельт. И на этот раз уже не выпускал ее, не давал Ванденгейму возможности вставить ни одного слова. Тому оставалось только пить свой коктейль. Джон делал это с мрачностью, обличавшей его недовольство. Но оно не оказывало на хозяина ни малейшего действия: речь снова шла о пере-

пелах. Рузвельт с таким видом поглядывал на проносившиеся за окнами вагона поля, словно именно оттуда, сквозь шум колес, до него доносился свист перепелов, навевавший охотничьи воспоминания.

Ванденгейм опустошил стакан и, не ожидая приглашения, наполнил его чистым джином. Ему хотелось залить овладевавший им гнев. Но чем больше он пил, чем сильнее багровело его лицо и наливались кровью глаза, тем веселее звучал голос президента.

Рузвельта заставило умолкнуть лишь появление Макинтайра. Врач вошел без стука, как свой человек. Не обращая внимания на Ванденгейма, он почтительно, но одновременно очень внушительно заявил:

– Ванна, сэр!

Рузвельт развел руки, как бы взывая к сочувствию Ванденгейма.

– Видите, Джон!.. Однако недопустимо, чтобы мы расстались, не поговорив откровенно. Я хочу знать, что вы думаете, и вы должны знать, что я думаю... – Рузвельт потянулся к телефону, и Ванденгейм решил, что ему придется подождать в каком-нибудь купе, пока закончится ванна президента. Но то, что он услышал, заставило его сердито сдвинуть брови и сжать подлокотники в усилиях сдержать готовое вырваться наружу бешенство. Президент предложил Гопкинсу зайти за Ванденгеймом и продолжить с ним разговор... вместо самого Рузвельта.

– Все, что вам скажет Гарри, сказал бы вам я, и все, что хотел бы сказать вам я, скажет Гарри, – бросив трубку, обратился Рузвельт к Ванденгейму и радушно протянул Джону руку.

Джон мрачно шагал по коридору вагона следом за понуро волочащим ноги Гопкинсом.

«Что же, – думал Джон, – и этот будет кормить меня сказками о перепелах? К черту! Гопкинс не президент. Ему-то я уж выложу все, что думаю о подобном способе вести дела».

Он вошел в купе Гопкинса, готовый вступить в сражение с этой гримасничающей от боли тенью президента. Джон не питал никаких иллюзий насчет приема, который может ему оказать Гопкинс – откровенный и непримиримый враг всех противников Рузвельта. Однако то, что произошло в первые же минуты этой встречи, резко изменило все течение разговора. Гопкинс сразу же сказал Ванденгейму, что осведомлен о цели его приезда и готов помочь в любом деле, которое пойдет на пользу Америке и ее президенту. При этих словах он наполнил до краев два больших бокала и с видом завязатого кутилы чокнулся с Джоном.

Хотя Джон был уверен, что Гопкинс не может знать ни намерений, ни мыслей, с которыми Джон пришел сюда, он с готовностью поднял свой бокал. Что же, может быть, это и хорошо, что, прежде чем поставить точки над «и» с самим президентом, он потолкует с его вторым «я».

Джон решил начать с вопросов, от которых с такой ловкостью ускользал Рузвельт.

– Известно ли президенту, что не только американские вложения в Германии почти удвоились за последнее десятилетие? Немецкие промышленники охотно идут на переплетение их интересов с нашими и за пределами Германии.

Гопкинс ответил на наивность наивностью:

– О каких отраслях хозяйства вы говорите?

– Нефть, химия, недра...

Гопкинс согласно кивнул головой:

– Кое-что мы об этом слышали. Нам кажется, что в наших интересах всячески поощрять деловые связи Штатов с Европой. Только... – он на мгновение умолк, испытующе посмотрев в глаза собеседнику, – мы не знаем, что вы будете делать с этими связями и со своими вложениями, если Гитлер пойдет дальше, чем мы предполагаем, – возьмет да и бросится на нас?

Ванденгейм пренебрежительно махнул рукой:

– Он никогда не пойдет на это первым.

– Но на это могут пойти его союзники – японцы. Тогда Гитлер будет автоматически втянут в войну с нами.

– Этого не будет! – энергично воскликнул Джон. – Мы сумеем удержать его от подобной глупости, а японцев удерживайте вы.

Наступила пауза. Гопкинс молчал. Нельзя было понять, одобряет он подобную мысль или осуждает.

«Черт возьми, кажется и этот намерен играть со мною в прятки?» – подумал Ванденгейм и безапелляционно заявил:

– Все, что я знаю о намерениях нацистов, а я знаю о них вполне достаточно, позволяет мне утверждать: Гитлер бросится на Россию. Это цель всех его приготовлений. А раз так, мы можем спать спокойно.

– Сталин не из тех, кто позволит Гитлеру легко сорвать плод, – возразил Гопкинс.

– Тем лучше, – радостно воскликнул Ванденгейм. – Значит, военная конъюнктура – на десять лет...

Гопкинс нервно повел плечами, почти тем же движением, как это делал президент, и проговорил тоном проповедника:

– Не стройте из себя вандала, Джон. Мне не хочется верить, что американец способен желать войны... Война не то средство, которым мы хотели бы решать наши споры. Война – это кровь, это гибель миллионов людей.

– Это не наши, а их споры, не наша, а их кровь – там, в Европе, – махнул рукой Ванденгейм. – Какое нам с вами дело?! Пусть они истребляют друг друга. Нам от этого хуже не будет...

– А если водоворот втянет и нас?

– От нас зависит, дать себя втянуть в войну или нет.

– Вы говорите о возможности войны так, словно дело идет о том, будет ли лето достаточно теплым, чтобы поехать на купанья, – негромко, но внушительно произнес Гопкинс. – Хорошо, что наша беседа происходит без записи и свидетелей, а то нам жарко пришлось бы на ближайшей пресс-конференции.

Мысль о том, что их разговор действительно не стенографируется и, по существу говоря, можно говорить о чем угодно, подбодрила Ванденгейма. Уж не для того ли Гопкинс и напомнил об этом, чтобы вызвать его на откровенность?

Джон заговорил о том, что ему казалось самым важным:

– Что бы вы сказали, если бы я с полной серьезностью предложил проект слияния наших партий? К чему эта игра, отнимающая столько времени и средств у всех нас? А я, мне кажется, нашел бы средства осуществить такой проект.

Гопкинс посмотрел на него так, словно перед ним сидел сумасшедший.

– Вы... серьезно? – И в ответ на утвердительный кивок Ванденгейма: – Воображаете, что мы можем позволить себе такую роскошь? – На лице Гопкинса отразилось смещение гнева и крайнего отчаяния. Ванденгейм в испуге даже отстранился от Гопкинса, но тот без стеснения потянул его к себе за рукав пиджака. – К черту дурацкие фантазии, Джон! Осуществить такое слияние значило бы ввести в действие против нас все скрытые силы протеста. Те силы, которые сейчас идут по одному из этих русел, – он поочередно ткнул пальцем в грудь Ванденгейма и себя. – Мир между нами значил бы открытую войну против всех нас... Запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу: боритесь с нами, боритесь так яростно, как только можете! Но упаси вас бог свалить хозяина. Он или революция – таков выбор для нас всех. Поняли?

Ванденгейм не принадлежал к числу людей, легко теряющихся, но сейчас он сидел с таким видом, словно из-под него вытаскивают стул.

– Валите на нас, что угодно, – продолжал между тем Гопкинс. – Слава богу, что вы обладаете средствами для этого. Что будет со всеми нами, если вместо вас этим делом займутся те, кто кричал сегодня с платформы: «Отдайте нам то, что произвели наши руки!» Представьте себе, что мы отдали бы им то, что создано ими. Что останется тогда вам?

Лицо Ванденгейма налилось кровью. Забыв, что он разговаривает не с Долласом, а с советником президента, он зарычал:

– К чертям эти глупости, Гарри! Посадить мне на шею десятки, сотни тысяч паразитов?! Я делаю доллары не для того, чтобы затыкать ими глотки рабочих. Я не хочу, чтобы из-за вашей филантропии сотни тысяч, миллионы бездельников разевали рты на мой хлеб. Да, у меня миллионы. Да, у меня миллиарды! Да, я богат. Но какой черт вам сказал, что я не смогу стать еще богаче, если не буду кормить нахлебников, которые сегодня в Улиссвилле требовали вашей проклятой справедливости.

В течение этой речи Гопкинс успел совершенно успокоиться. Его черты приобрели выражение расчетливой деловитости и официальной сдержанности. Теперь он смотрел на беснующегося собеседника с выражением снисхождения. Как только ему удалось вставить реплику, Гопкинс проговорил тоном доброго учителя, поучающего не в меру расхोлившегося ученика.

– Неужели вы не понимаете? Когда я говорю «Рузвельт или революция», я ни на йоту не изменяю тому, что говорил вам прежде. Американский народ дошел до той грани, когда ему нельзя не дать хотя бы суррогата справедливости, о котором так любит болтать наш общий друг Синклер. Будьте умницей, Джон, приберите к рукам искусство, займитесь философией...

– Меня тошнит от философии!

Но Гопкинс только рассмеялся в ответ и, не меняя тона, продолжал поучать:

– Можете не любить ее, но найдите средства еще и еще раз доказывать ста сорока миллионам простых американцев, что великая справедливость вовсе не в том, чтобы у вас не было золотых ванн, а в том, чтобы эти простые американцы имели эмалированные или хотя бы цинковые ванны.

Глаза Гопкинса делались все более злыми. Он поднял пустой бокал, постучал его краем по бутылке и, прищурившись, прислушался к тонкому долговому звуку, издаваемому хрусталем. Не глядя на собеседника, медленно процедил сквозь зубы:

– И их женам пока вовсе не нужны каблуки с бриллиантами. Дайте им цветные стеклышки. Иначе у вас отберут ваши бриллианты. Поняли?

– Я хочу, чтобы их было не сто сорок миллионов, а по крайней мере вдвое меньше. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы двигать мою машину... ни одним человеком больше.

– Это утопия, Джон. Глупейшая утопия, которая когда-либо владела человеческими умами.

– А война! При нынешних средствах истребления мы можем перемолоть миллионы, десятки миллионов не нужных нам людей.

Черты Гопкинса застыли. Он проговорил:

– Не то, Джон, не то! Это не к лицу тому, кто хочет говорить об овладении всем миром. Имейте в виду, что только в том случае, если массы будут верить хозяевам, верить вам и бояться вас, вам удастся поднять их на действия, необходимые для распространения вашей власти. Всякая масса, в том числе и американская, пойдет за вами, если будет уверена, что действует во имя цивилизации, во имя той самой справедливости, которой она так яростно добивается для себя самой... – Гопкинс задумался, потом продолжал: – Никогда не забывайте, Джон, что массе нужны идеалы. – При этих словах Гопкинс положил руку на плечо собеседника. – Помните мои слова, Джон: если Советам удастся осуществить еще хотя бы две своих пятилетки, – а это им, по-видимому, удастся, – они будут продолжать такими же темпами улучшать положение масс в своей стране. Если нам, при нашей системе, не удастся продвинуть жизнь вперед, то не найдется таких говорунов ни в нашей партии, ни в вашей, которые сумели бы отговорить американцев испробовать у себя то, что так здорово получается у русских... В этом все дело.

– Вы считаете, что в нашем распоряжении всего десять лет...

– Вы понимаете все чересчур буквально. – Гопкинс посмотрел на часы и спросил, словно невзначай: – Вы здорово завязли в Германии?

Ванденгейм был уверен, что Гопкинс знает все не хуже его самого, но с деланной откровенностью выложил:

– От вас никаких секретов, Гарри: моя группа имеет там около четырех миллиардов прямых вложений и... и интересы еще кое в каких делах... миллиардов на шесть.

– Значит... десять?

– Примерно...

– А Рокфеллер и другие?

– Раза в полтора-два больше...

– А немцы – у нас?

– Только интересы, никаких вложений.

– Умно играют... Не боитесь? – с усмешкой спросил Гопкинс.

Вместо ответа Ванденгейм поднял большой красный кулак и крепко сжал его. Он как бы говорил: «Вот они где».

Однако, поглядев в глаза собеседнику, он понял, что тот не принадлежит к числу людей, которые легко верят на слово. А Джону хотелось, чтобы Гопкинс верил. Не только тому, что Джон говорил сейчас здесь, а поверил бы накрепко, навсегда, тому, что Джон хочет идти вместе с ними, если... ему отведут в этом походе надлежащее место. Он хотел быть тут, в этом штабе, откуда Америка будет править миром.

Совсем близко придвинувшись к Гопкинсу и дыша ему в ухо, он заговорил негромко, будто доверяя ему самое сокровенное:

– Не в немцах дело, Гарри. Они нам не страшны. Пусть бы завтра, сегодня ночью, через час они затеяли войну со всей Европой – мы ничего не теряем. Да что я говорю – с Европой, – пусть воюют со всем миром!..

Гопкинс проговорил, не отнимая от губ бокала с вином:

– Может быть, вы ничего не имеете против того, чтобы они воевали и с нами?

При этом бесцветные глаза Гопкинса следили за каждой чертой собеседника, за малейшим движением его лица.

Ванденгейм не стал объяснять Гопкинсу сложный механизм секретных договоров, делавших обе стороны – американскую и немецкую – равными участниками в прибылях промышленников обеих стран при любой военной ситуации. Ванденгейм был уверен, что Гопкинс отлично знает, в чем дело. Джон полагал, что не может быть такого положения, чтобы самые архисекретные сделки капиталистов оставались тайной для Белого дома. Его обитатели сами являются ведь не последними участниками предприятий, заинтересованных в этих сделках.

– Гораздо больше Германии меня беспокоит Россия, – сказал Джон. – Да, да, я говорю именно то, что хочу сказать: Россия!

– Надеюсь, там-то у вас нет вложений? – спросил Гопкинс.

– Если бы вы были дельцом, то не стали бы спрашивать, – сердито проговорил Ванденгейм. – Я сказал бы: есть, и дьявольски большие.

– Вкладывать деньги в Россию! – Гопкинс всплеснул руками.

Ванденгейм с досадою отмахнулся:

– Дела давно минувших дней... Тогда все были уверены, что большевики не продержатся и пяти лет... Бакинская нефть, разведки на Алтае...

Гопкинс рассмеялся:

– Значит, одна бумага! А я думал, серьезно.

– Что может быть серьезней такой бумаги, Гарри?

– Скупили-то всё наверняка по центу за доллар.

– Иногда и дешевле, – не без хвастовства заявил Ванденгейм.

– Тогда беда еще не так велика...

– А вы представляете себе, какие возможности мы теряем в России? Об этом стоит подумать, Гарри. Очень стоит...

Джон долго еще говорил о выгодах, которые американский капитал мог бы извлечь из России, но нельзя было понять, слушает ли его Гопкинс. Держа недопитый бокал против лица, тот клевал носом. Он оживился только тогда, когда Ванденгейм заговорил о Китае, и окончательно пришел в себя, когда дело дошло до Японии.

– Неужели вы не считаете сколько-нибудь целесообразным поощрить Японию к движению на северо-запад? – говорил Ванденгейм.

Гопкинс ответил неопределенно:

– Это дело Грю.

– Чем ближе джапы подберутся к границам Советов...

– Вы, видно, забыли о договоре взаимной помощи, фактически о союзном договоре между Советами и Монголией.

– Те же Советы...

– Тем хуже... Попытки Японии проникнуть в СССР этим путем, а заметим в скобках: это самая прямая дорога к Транссибирской магистрали, – подобная попытка вызвала бы яростную реакцию Москвы.

– Значит, драка? – восторженно крикнул Ванденгейм. – Разве это не то самое, к чему мы стремимся?

Гопкинс перебил:

– Вы говорите так, словно упрочение Японии вам чертовски на руку.

– Что угодно, только не упрочение Советов.

– А кто вам сказал, что из такого поединка победителями непременно вышли бы джапы?

– При нашей-то поддержке?!

На столе загудел сигнал телефона. Гопкинс потянулся за трубкой.

Выслушав, не торопясь, опустил ее на рычаг и обернулся к гостю:

– Президент вызывает меня. – И только насладившись видом обиженно вытянувшейся физиономии Ванденгейма, добавил: – И вас тоже.

Глава 9

Рузвельт окинул обоих внимательным взглядом и, лукаво подмигнув Гопкинсу, сказал:

– Не больше одной бутылки, а?.. Нет, Гарри, так не годится. Не только вашими омарами, но и выпивкой будет распоряжаться Макинтайр. – Он обернулся к Ванденгейму: – Когда Гарри выпивает больше бутылки, я не отвечаю ни за одно его слово. Баста! Считайте, что ничего от нас не слышали. Пока меня тут мучил врач, я кое-что приготовил для вас.

Рузвельт потянулся к лежавшей на столе книге, обернутой в кожаную суперобложку. Гопкинс засмеялся и в тон Рузвельту бросил:

– Это, – Гопкинс поднял со стола книгу и показал Ванденгейму те места, где светлая кожа футляра потемнела от частых прикосновений, – наше Евангелие, Джон. Хотите вы или не хотите, но вам придется выслушать несколько изречений.

Рузвельт с напускным гневом взял из рук Гопкинса книгу и отдельно прочел:

– «У Вильгельма одна мысль – иметь флот, который был бы больше и сильнее английского, но это поистине чистое сумасшествие, и он увидит, как это невозможно и ненужно».

И пояснил Ванденгейму:

– Это писала жена императора Вильгельма Второго, Виктория, своей матери, английской королеве Виктории... По-вашему, это верно? Будто мечтать о флоте более могущественном, чем британский, – пустое занятие?

Не понимая, к чему клонит президент, Ванденгейм осторожно промолчал.

Тогда Рузвельт сказал:

– Купите эту книгу, – он показал титульный лист: «Капитан Альфред Тайер Мехен. Влияние морской силы на историю». – Прочтите ее внимательно. Вы поймете, почему мне так чертовски хочется, чтобы вы приложили свои силы к флоту. Там найдут себе сбыт и сталь и нефть, Джон. Я попросил бы моих друзей в правительстве, чтобы они создали наиболее благоприятные условия для приложения вашей энергии в судостроении. Я имею в виду военное судостроение. Надо строить авианосцы, то, чего не было во времена Мехена. Понимаете, боевой флот и авиация сразу. Штаты должны иметь самый большой авианосный флот. Мне кажется, Джон, что это должно многое решать. Тот, кто будет владеть воздухом над головою вражеского флота, будет хозяином океанов. Это так, поверьте мне. – Рузвельт, насколько позволяла его относительная подвижность, нагнулся к Ванденгейму и продолжал, понизив голос: – Вы хотите, Джон, чтобы дела Америки и ваши шли так, как вам хочется? Тогда займитесь этим делом. Если конгресс не будет упрямым, как строптивый мул, и утвердит морскую программу, нам с вами не придется больше слышать таких глупых разговоров, как нынче в Улиссвилле. У всех будет работа. Вся Америка поплывет сразу по двум океанам, – и он раскинул руки широким движением, словно желал раздвинуть стены салона, стоящие на пути к его мечте.

– Вся Америка? – переспросил Ванденгейм. – Опять вся? И там, в этом лучшем будущем на двух или на четырех океанах, мне будут твердить о необходимости содержать миллион «простых людей», будут болтать о справедливости?! Нет, я хочу другого будущего, мистер президент, совсем другого!

– Я знаю, чего вы хотите, – не давая ему договорить, перебил Рузвельт, – знаю вашу натуру – рвать налево и направо, рвать, пока есть зубы, не заботясь о том, что будет завтра. Так не годится, Джон. Думайте о будущем, поймите же, черт побери, иначе нас сбросят за борт на пути к любому будущему.

– Не хочу, не буду, – упрямо бормотал Ванденгейм, с трудом заставляя себя вдуматься в то, что говорил президент. – Не хочу никому отдавать даже часть того, что принадлежит мне целиком. Не желаю, чтобы в мою ванну лез всякий сброд, которому, для того чтобы выкупаться, достаточно сбросить остатки дырявых штанов...

Рузвельт поднял руки, словно прося пощады, и воскликнул:

– Стоп, Джон! Оказывается, мы с вами хотим одного и того же. А вы и не заметили?.. Но как идти к нашей общей цели? Ваш путь – это гибель. Я ищу другого пути. Справедливость, о которой я толкую, в том и заключается, чтобы каждый получил положенное ему от Бога, чтобы никто не имел права сказать, будто среди бела дня у него отнимают принадлежащее ему. Отдайте не половину, а одну десятую того, что человек создал, но так, чтобы он поверил, понимаете, Джон, поверил в справедливость дележа, и все будет в порядке. – Рузвельт саркастически улыбнулся и, помолчав, сказал: – Поверьте мне, Джон, только полные дураки могли стрелять мне в спину из-за того, что им не нравится эта формула.

Не выдержав взгляда президента, Джон опустил глаза и через силу ответил:

– ...Я рад, что в вас тогда не попали.

Рузвельт рассмеялся:

– Могу вас уверить, Джон: я рад этому не меньше вашего. И не только потому, что остаться в живых всегда приятней, чем стать трупом, но и потому, что смерть мэра Чикаго – это только потеря хорошего малого. Вместо него другой будет с таким же успехом давать банкеты избирателям и боксерам. А попади преступник в меня, вы лишились бы неплохого адвоката. Постарайтесь уверить в этом кого следует.

И без того багровое лицо Джона налилось кровью до синевы.

– Что вы имеете в виду, сэр?!

– В вашей власти сделать так, чтобы ваши деньги больше не тратились на дела, могущие обратиться против вашего же кармана. Надеюсь, что рано или поздно мне удастся убедить вас в необходимости дать Америке ту меру справедливости, которая оказала бы действие бочки масла, вылитого на поверхность волнующегося моря.

– В конце концов, – примирительно заявил Джон, – я не против этого. Но пусть елей льют попы. Они получают достаточно за то, чтобы делать свое дело.

– Церковь – величайший из институтов, Джон, – тоном глубочайшего уважения произнес Рузвельт. – Заботьтесь о церкви, и она позаботится о вас. – Он наставительно поднял палец: – Почему на протяжении двух тысячелетий, пережив десятки империй, существует это учреждение? Спросите себя об этом, и вы поймете: люди хотят справедливости. Тот, кто обещает им ее – полубог, а кто сумеет их уверить в том, что он им ее дал, – сам Господь Бог.

– Так дайте же им эту вашу справедливость: пусть размножаются, но не мешают размножаться моим долларам. Пусть едят овсянку с салом, но не суют нос ко мне на кухню и не лезут в мою постель, чтобы посмотреть, что я жру, на чем и с кем сплю!

Прошло около часа. Мечтательно полуприкрыв глаза и глядя поверх головы Ванденгейма на стену, где висела большая многоцветная карта мира, Рузвельт говорил медленно, словно думая вслух.

Ванденгейм слушал внимательно. Временами он ловил себя даже на том, что его рот сам собою приоткрывается от удивления. Трудно верилось тому, что все это говорил Тридцать второй, Рузвельт, «социальный ренегат»!.. Или он играет с Джоном?.. Нет, нет, так не шутят! Это разговор мужчин!

Воодушевившись, Джон с жаром воскликнул:

– Тогда мы поднимем желтых против России. Китай, Японию, Индию! Мы натравим их на русских, взбудораживших всю Азию. – И, задохнувшись от волнения, прохрипел под конец: – «Азия для нас!» А там увидим... – И он потянул из кармана платок, чтобы отереть вспотевший лоб.

Рузвельт смотрел на него с разочарованием, близким к жалости: с этим человеком было бесполезно толковать. Он понимал все, как взбесившийся пес: рычать и хватать, хватать, хватать...

Но, сделав над собою усилие, Рузвельт все же терпеливо продолжал:

– Нет, Джон... не то, совсем не то... Я не понимаю такой ненависти... Но я хочу сказать: революция не знает ни белых, ни желтых. Для нее существуют угнетенные и угнетатели. Вот – лагеря... Коммунизм не знает разницы рас. Коммунистическая Россия белых вместе с коммунистическим Китаем желтых и с черной Африкой впридачу могли бы, отлично понимая друг друга, наступить на горло и капиталистической Америке белых и полуфеодалной Японии желтых. Вот что страшно, Джон: единая коммунистическая Евразия против Штатов... они раздавили бы нас...

– Вы... боитесь? – с удивлением спросил Ванденгейм.

Рузвельт отрицательно покачал головой.

– Это так... мысли вслух... Впрочем, что я вам тут рассказываю. Сейчас я покажу вам, Джон, куда вы должны устремить свое внимание. – Он взял со стола линейку и провел по карте. Конец линейки остановился на голубых просторах Тихого океана. – Вот дорога на Восток, Джон. Чертовски широкая дорога.

– На дороге нужны станции. – Джон улыбнулся, впервые за весь день. – Хотя бы для заправки баков и чтобы капитан мог пропустить стаканчик-другой.

– Дайте Америке флот – будут и станции. Так много станций, как только может понадобиться. Если бы во времена Мехена существовали самолеты, он наверняка учел бы и этот фактор. Но мы сделаем это за него. Арнольд не даром ест свой хлеб... Смотрите, Джон, – линейка плавным движением обошла Филиппины. – Если нам удастся убедить филиппинцев в том, что мы, как добрый сосед...

– Довольно дальний сосед, – скептически заметил Гопкинс и пальцем провел по направлению от США к островам, которых все еще касалась линейка президента.

– Но и довольно сильный, – подмигнул ему Рузвельт. – Если Макаρχеру удастся доделать то, что он делает, мы уже через десять лет будем иметь на этом голубом пространстве такую опорную точку, что... – Рузвельт воинственно взмахнул линейкой и, не договорив, с треском швырнул ее на стол. – Вот куда вам нужно идти, Джон. Оттуда рукой подать до Юго-Восточной Азии, оттуда вы сможете перешагнуть в Китай, а через несколько лет, быть может, и в Японию.

Он нажал звонок и бросил вошедшей секретарше:

– Попросите Макаρχера!

Потом взял со стола одну из бутылок и, повернув ее этикеткой к гостю, спросил:

– Что предпочитаете?

– Если позволите, я сам, – ответил Ванденгейм и без стеснения взял другую бутылку.

Он, не торопясь, наливал себе джин, когда дверь отворилась и в салон вошел Макаρχер.

Не выпуская из рук бутылки, Ванденгейм с интересом разглядывал генерала, пока тот здоровался с президентом. Джон не спеша поставил бутылку, вынул изо рта сигару и дружески, словно был с ним знаком, кивнул Макаρχеру.

Рузвельт поднял свой все еще полный стаканчик и, глядя на Макаρχера, сказал:

– За вас, Мак. За ваше дело!

– За наше дело, президент, – по-военному четко ответил Макаρχер, впившись в лицо Рузвельта прищуренными глазами.

Через несколько минут Рузвельт снова поднял стакан – все тот же недопитый стакан своего коктейля, – протянув его в сторону Ванденгейма, проговорил:

– За наших друзей...

– Это за вас, Джон, – с усмешкой пояснил Гопкинс.

Когда заметно захмелевший Ванденгейм наконец понял, что ему пора уходить, и когда дверь затворилась, скрыв его широкую спину, Рузвельт, задумчиво глядя ему вслед, проговорил:

– Хотел бы я знать, что им от меня нужно? – И тут же, сделав такое движение рукой, будто отгонял неприятные мысли, весело крикнул Гопкинсу: – Как вы думаете, Гарри, не показать

ли нам Дугласу какой-нибудь хороший фильм, а?.. Давайте смотреть «Королеву Христину». Не протестуете, друзья? Не беда, что фильм стар. Мы увидим очаровательнейшую из королев.

Гопкинс стал поудобнее устраиваться в кресле, чтобы соснуть, пока будет идти трижды виденная им картина. Макарчер молчал. Ему было решительно все равно: покажут ли матч бокса, ограбление с убийством или любовную комедию.

Рузвельт между тем продолжал, поглядывая на генерала:

– Я вам особенно советую, Мак, последить за судьбою испанского посла... Назидательная история о том, к чему могут привести иностранца вредные реминисценции бонапартизма. Даже если им покровительствует такое очаровательное существо, как эта королева... к тому же имейте в виду, не осталось ни таких королев, ни... – он не договорил и, рассмеявшись, повернулся всем корпусом к Макарчеру. – Разве только если нарядить в женское платье вашего Квесона, а вам поручить роль испанского посла.

Макарчер не понял намека. Рузвельт с силой опустил ему руку на плечо.

Свет в салоне погас. По экрану на великолепном галопе неслась амазонка...

Рузвельт вдруг почувствовал около уха чье-то дыхание и расслышал осторожный шепот:

– Мне нужно сказать вам несколько слов.

Он узнал голос Макарчера и полуобернулся:

– Потом, потом... – Президент с досадою отмахнулся от угрожавшего ему делового разговора. Его внимание было снова целиком поглощено экраном.

Но по мере того как бежал фильм, двигались по экрану тени вельмож, заговорщиков, крутились снежные вихри метели и стучали копыта коней, мысли президента уносились все дальше и дальше от Швеции, от красавицы королевы, от ушедшей во тьму истории и неизвестно зачем воскрешенной «Парамаунтом» повести о нелепой любви. Перед мысленным взором Рузвельта появлялись другие тени, другие заговорщики, другие вельможи и монархи. Короли нефти и железа, банков и железных дорог. Заговорщики прятали за пазуху не наивные кинжалы, а пачки акций и автоматы. Их страшный хоровод плясал на экране, как мрачные кони Апокалипсиса, несущиеся навстречу Рузвельту, чтобы растоптать его, смять, уничтожить. Изъязвленная маска Рокфеллера Старшего высилась над плечами Ламонта. Бесконечные толпы гангстеров с факелами и в масках бродили по закоулкам Белого дома...

Рузвельт нервно повел плечами и закрыл рукою глаза.

Тени Моргана и Рокфеллера!.. Приближающиеся выборы... Необеспеченность переизбрания на третий срок, если он не станет кандидатом того и другого...

Провал означал бы, что на мостик взойдет новый капитан. Какой-нибудь полубезумный, ничего не понимающий в навигации Дьюи. Даже если допустить, что Дьюи удастся удержать в повиновении матросов, что офицеры не будут выброшены за борт, что груз золота останется в трюмах корабля, какой во всем этом будет прок, когда вон там, впереди, пенистые буруны у рифов? Корабль Штатов стремительно несется в этот кипящий водоворот. Один неверный поворот руля и...

Ладонь президента была прижата к плотно закрытым глазам. Но даже сквозь сжатые веки ослепительно сверкала пена бурунов вокруг рифов... Смертельная угроза кораблекрушения!..

Сеанс окончился. Президент вяло протянул руку Макарчеру и остался наедине с Гопкинсом.

Оба долго молчали.

Наконец Гопкинс не выдержал:

– Что сказал вам по секрету от меня Мак?

Несколько мгновений Рузвельт смотрел на него с недоумением. Потом неохотно проговорил:

– Да, он что-то хотел мне сказать, но... по-видимому, так же забыл об этом, как я...

Гопкинсу очень хотелось поймать взгляд президента, но глаза Рузвельта были полузакрыты, голова устало откинута на спинку кресла.

Гопкинс на цыпочках покинул купе.

Глава 10

Поезд президента грохотал по рельсам далеко от Улиссвилля, когда негр Абрахам Джойс остановился у остатков изгороди, окаймлявшей когда-то крайний участок, из тех, что причислялись к Улиссвиллю.

Была безлунная ночь, и в темноте не сразу можно было заметить, что Джойс не один. Мэй остановилась рядом с ним.

– Дальше не пойдешь? – спросил Джойс.

– Не пойду.

Она произнесла это негромко. Так, словно боялась быть услышанной кем-либо, кроме Джойса. Хотя можно было с уверенностью сказать, что в такое время и в этом заброшенном месте нет никого, кто мог бы ее услышать, кроме спутника. Она прибавила еще несколько слов, которые с трудом разобрал даже Джойс: что-то о грозящей ему большой опасности.

– Пустяки, – сказал он, – все это совершенные пустяки.

– Нет, не пустяки, – упрямо сказала она.

– А я говорю, пустяки... Мы выберемся из этого.

– «Пустяки»! – повторила она несколько громче прежнего, передразнивая Джойса. – Если бы все это было так просто, как ты говоришь, то ты не ездил бы теперь на тракторе, а... – едва уловимая серая полоса ее просторного рукава описала в темноте широкую кривую, как безнадежный взмах крыла, которому не суждено было никуда подняться.

– Лучше на тракторе, чем под трактором, – пошутил Джойс.

– Но лучше на самолете, чем на тракторе, – в тон ему ответила она.

– Жизнь была бы чертовски проста, если бы человек всегда мог заниматься лучшим из того, что он умеет делать, – нравоучительно проговорил Джойс. И, подумав, прибавил: – Эдаких счастливиц не так уж много на свете... – В темноте очень громко прозвучал его глубокий вздох. – Конечно, ты права: авиатор должен летать или хотя бы работать на аэродроме, а не таскать трактором плуги.

– И вообще напрасно ты сюда приехал, – сердито сказала она, – здесь места не для негров.

– А ты можешь мне показать в Штатах места для негров? – насмешливо спросил он. – И разве я мог отстать от всей компании?

– Иногда нужно выбирать: компания или жизнь, – жестко произнесла Мэй.

По ее тону Джойс понял, что ей хотелось, чтобы эти слова прозвучали как можно более жестко, и улыбнулся: из ее намерения ничего не получилось. Мэй выговаривала английские слова с той своеобразной мягкой певучестью, которая свойственна выговору китайцев. Он с усмешкой подумал, что в ее устах даже брань звучит, вероятно, как объяснение в любви. Между тем она тем же тоном продолжала:

– Да, нужно выбирать!

Джойс стоял молча, хотя ему хотелось сказать, что там, откуда он приехал, в Испании, в интернациональной бригаде, такой вопрос не вставал никогда. Оба они – Аик Стил и он, Джойс, – были авиационными людьми, но оба они сражались там в пехоте только из-за того, что у республики не было самолетов. Честное слово, если бы кому-нибудь пришло в голову поставить перед любым из них вопрос: жизнь или компания пехотинцев, бок о бок с которыми они прошли весь путь от Мадрида до французской границы, ни один из них не усомнился бы в выборе. Для чего же другого они приехали туда, как не ради того, чтобы их жизнь стала частицей жизни этой компании, а жизнь компании стала их собственной? Право, как странно говорит Мэй: выбирать между компанией и жизнью. Что же, он должен был бросить их одних – большого Айка и этого маленького итальянца Тони, приставшего к нам в тот день, когда убили певичку?.. Странная постановка вопроса – компания или жизнь... Очень странная...

Приглядевшейся к темноте Мэй было видно, как Джойс повел в ее сторону белками глаз. Она положила руку на широкое плечо негра и прижалась лицом к его груди. Он погладил ее по волосам, и Мэй, как всегда, очень ясно почувствовала, как велика его рука.

– Не ходи туда, – сказала Мэй.

Отняла голову от его груди и молча покачала ею. Задумчиво проговорила:

– Если бы ты был около самолетов, я могла бы улететь отсюда... вместе с тобой. Мы оба нашли бы работу. Ведь нужны же где-нибудь фельдшерицы... Но на тракторе никуда не уедешь.

– А необходимо уехать?

– Скоро они узнают о том, кто вы и зачем приехали... – Она опять грустно покачала головой.

– Не узнают, – ответил Джойс. – А если и пронюхают...

При этих словах Мэй в испуге отпрянула от него.

– Что будет с тобой!

Он по-прежнему озорно сказал:

– Пусть попробуют... Со мною Стил и Тони...

– Стил белый, они побоятся разделаться с белым, а ты... как будто не знаешь сам...

А твой Тони! – с презрением процедила она сквозь зубы. – Подвязать фартук – и будет настоящая баба.

Джойс рассмеялся так громко, что через несколько мгновений эхо вернуло этот смех с противоположной стороны оврага, где начинался невидимый сейчас сосновый лес.

– Тише, – сказала Мэй, – я вовсе не хочу, чтобы тебя убили.

– Идем со мной. Сейчас, – решительно проговорил Джойс и потянул ее за руку.

Она вырвалась.

– Поговори со Стилом. Вам нужно отсюда уходить, пока вокруг ничего не знают... – Она на минуту замялась, потом закончила: – И мне тоже будет очень худо, если они узнают, что я... с тобой...

– Слава богу, ты же не белая. Они не станут вешать негра из-за китайки.

– О, Хамми! Ты их еще не знаешь.

Джойс ясно представил себе, как при этих словах она безнадежно махнула рукой. Ему хотелось сказать что-нибудь такое, чтобы убедить ее: не будет ничего дурного, если здешние люди узнают, что они коммунисты.

– Ты же слышал, как Стил спорил сегодня с президентом, – сказала Мэй. – Что теперь о нем думают?

– Люди должны знать, что есть еще на свете кое-кто, от кого можно услышать правду.

– Ты глупый, – сказала она с нежностью, сквозь которую слышалась жалость к большому черному любимому человеку. – Ужасно... ужасно глупый... – И вдруг с беспокойством: – Уходите, уходите отсюда как можно скорей. Сегодняшний митинг не приведет к добру. Уж я-то знаю здешний народ... – И, наконец, голосом, полным страха: – Клан все знает, у него везде свои люди... Верь мне, Хамми, и там, и в вашем сарае наверняка есть их уши...

– Уж это ты брось! – беспечно сказал он.

– Я знаю, что говорю... Мама говорила мне...

Он со смехом перебил ее:

– Твоя мать очень хорошая женщина, но что может знать простая старуха.

– Но ведь она же служит у Миллса! – убеждающе проговорила Мэй и повторила: – Я знаю, что говорю.

Джойс протянул руку и крепко взял Мэй повыше локтя. Она сразу подалась к нему вся. Он охватил ее за плечи и прижал к себе.

– Может быть, ты даже знаешь, кто?

Она рванулась, пытаясь освободиться из его объятий, но он еще крепче сжал руки. Все ее тело напряглось, потом обмякло. Будто она сдалась, потеряв надежду освободиться.

– Ну, кто? – повторил он.

Мэй почувдалась в его голосе такая сухая нотка, какой не приходилось в нем слышать. Она подняла глаза, тщетно пытаясь разглядеть во тьме выражение лица Джойса. И ей вдруг стало так страшно, как не было еще никогда с начала их близости.

Мэй еще никогда так ясно не сознавала, что происходящее вокруг очень страшно. Только в эту минуту, когда перед нею так четко встали, с одной стороны, она и он, с другой – кто-то из сидевших сейчас в сарае, она до конца ощутила, до холода в спине, до иголок в кончиках пальцев, что это значит... Она была тогда еще совсем маленькой девочкой, всего год или два тому назад приехавшей с матерью из Китая... Да, да, это было именно тогда, когда мать поступила в стряпухи на ферму Миллса... Ночь, черная, как сегодня, факелы, много пылающих факелов. В их свете белые капюшоны казались алыми, словно пропитанными кровью. Ни одной капли крови не было пролито в ту ночь – негр даже не пытался защищаться. Через пять минут после того, как они подошли к его дому, он уже висел на сосне за своим собственным сараем... Она отчетливо помнила каждую мелочь! Цвета и звуки жили в ее памяти так, как если бы все случилось сегодня... Она могла бы слово в слово повторить все, что кричала тогда девушка, цеплявшаяся за негра, когда его волокли к сосне.

Мэй могла бы с точностью описать каждую черточку на лице негра и его возлюбленной, когда люди в капюшонах схватились за веревку. Мэй чересчур ясно представляла себе всю эту картину, чтобы оставаться спокойной сейчас, хотя руки Джойса были такими сильными и так крепко и уверенно держали ее.

Ужас, объявивший ее при этом воспоминании, сковал язык и не давал ей ответить на вопрос, настойчиво повторявшийся в темноте:

– Кто?

А Джойс не знал, что ему думать. В последний раз повторил:

– Кто?!

Не получив ответа, он разжал объятие. И тотчас почувствовал, как Мэй выскользнула. Топот ее тяжелых башмаков по плотной глине тропинки удалялся. И почему-то именно сейчас, когда она ушла, он с особенной ясностью представил себе ее всю – с головы до ног. Ему хотелось броситься за нею вдогонку, схватить и унести ее отсюда. Но он стиснул кулаки и не сделал ни шагу. Только закрыл глаза, чтобы вызвать в сознании еще более яркий образ Мэй: она стояла перед ним, и ее темные карие глаза улыбались сквозь узкий разрез век, и между ними, чуть-чуть повыше переносицы, чернела родинка. Совсем такое же маленькое пятнышко, как нарочно делают себе на лбу женщины в Индии...

Джойс разжал кулаки и поднес к лицу руку, словно на ладони мог сохраниться след от прикосновения к иссиня-черным гладким волосам Мэй...

Несколько времени он еще стоял, прислушиваясь к ее шагам. То, что она не ответила, убедительнее всего говорило ему: она боится того, кто сидит сейчас в сарае и вместе с другими, незаметный предатель, слушает Стила...

Джойс провел широкой ладонью по лицу, отгоняя ненужные мысли: что из того, что какой-то куклуксклановец знает Стила или его, Абрахама Джойса, коммуниста, как и Стил, правда, не умеющего так складно говорить, но в случае надобности способного постоять за свои взгляды и разъяснить народу, что к чему? Что тут такого? Разве конституция Штатов не предоставляет им право говорить то, что они думают? Ведь компартия не в подполье, ведь тут не Германия! Они говорят и будут говорить то, что считают нужным сказать народу, – правду... Джойс очень жалеет о том, что тоже не выступил сегодня на платформе Улиссвилля. Он сказал бы президенту все, что думает о войне северян «за демократию и справедливость». Зачем болтают, будто они воевали за освобождение негров, за уничтожение позорного рабства в Штатах.

Разве сами северяне не были согласны сохранить рабство для черных в тех штатах, где оно уже существовало? Если бы южные плантаторы были поговорчивей, негров и сейчас пороли бы и вешали среди дня, под защитой закона. Не были бы нужны белые маски. Господа из Вашингтона не делали бы вида, будто им ничего не известно о ночных расправах над черными...

Джойс шел по тропинке, которую скорее угадывал среди поля, чем видел. Его шаги были, как всегда, широки и уверенны. Он даже, сам того не замечая, что-то насвистывал себе под нос. Словно и не было у него в голове таких невеселых мыслей, словно запах взрыхленной земли, далекий шум леса и робкое стрекотанье первых кузнечиков в пробивавшейся кое-где траве – это было все, чем он сейчас жил...

Вдруг Джойс остановился и прислушался. Вокруг по-прежнему царила почти полная тишина еще не проснувшейся весенней природы. Но Джойс прислушивался не к тому, что было вне его, а к собственной мысли. Он поймал эту мысль, взвесил и печально покачал головой. Да, пожалуй, Мэй права: конституция ни при чем. Тот куклуксклановец, что сидит сейчас в сарае, знает, что делает.

Этим негодяям важно убедиться, что и Стил и он действительно коммунисты. Это должно быть им особенно ясно после сегодняшнего митинга. Ведь когда Гопкинс будто в шутку отослал Стила к Браудеру, он знал, что делает, очень хорошо знал. Это был сигнал всем, у кого есть охота разобраться: а не коммунист ли перед вами? Да, конечно, так оно и есть. Тот шпион, что слушает сейчас Стила в сарае, хочет только убедиться в правоте Гопкинса и донести своим: коммунисты ведут у нас агитацию, они хотят привлечь фермеров на свою сторону. Мэй права: повесят его, Джойса, или нет – второй вопрос, но обнаружь они связь между ним и батраками – они не преминут использовать это по-своему. Негр-коммунист, пойманный на таком деле, – отличный материал для этих разбойников...

Джойс потоптался на месте.

Вот жалость действительно, что он не может сунуть Мэй в самолет и отправить ее куда-нибудь подальше до тех пор, пока они со Стилом не закончат здесь свое дело – открыть людям глаза на истинное положение вещей в стране, объяснить им причины их собственных бедствий... Неужели же ему придется сниматься отсюда, не закончив работу, и оставить Стила одного?... Ах, черт возьми, а как же быть с Мэй? Значит, поставить точку на этом «личном» деле?... Не так все это просто!.. Нужно посоветоваться со Стилом...

Тропинка привела его к полуразрушенному сараю, предоставленному местным фермерским кооперативом «Козий брод» под жилье бригаде рабочих, прибывших с сельскохозяйственными машинами. Этот сарай был последним строением, еще кое-как сохранившимся на участке, откуда в прошлом году съехал разоренный хозяин.

Несмотря на то, что Джойс вошел в сарай из полных потемок, ему не пришлось щуриться от света. Под дырявой крышей едва мигал мутный глазок фонаря «летучая мышь». Электрические провода, некогда тянувшиеся сюда от фермы, давно исчезли. Вероятно, их срезал сам хозяин, чтобы увязать остатки скарба, которым пренебрег аукционист, распродавший все остальное за долги земельной компании.

В сарае было с десяток людей или немного больше. Кто примостился на обрубке дерева, кто просто на корточках на земляном полу. В середине, там, куда падал свет от фонаря, на высоком ящике сидел Стил. Он вслух читал газету. По заголовкам Джойс сразу узнал «Дейли уоркер».

При появлении Джойса несколько лиц повернулось к нему. Он внимательно вгляделся в них: «Кто?» Но все они показались ему такими изможденными, усталыми, что стало стыдно своих подозрений. «Не они!»

Он прислонился к притолоке и стал вместе с остальными слушать Стила. Когда Стил окончил чтение, кто-то из сидевших спросил:

– А не знаешь ли ты, механик, чем кончилось дело с Чехословакией? По газетам ничего толком не поймешь: то ли пустили волка в овчарню и на том дело кончилось, то ли самого волка признали овцой и ждут, когда он полезет на следующий двор?

Старый фермер, сидевший прямо напротив Джойса, теребя свою клочковатую бороду, уныло проговорил:

– Какое нам дело до чехов и Гитлера? У нас своих дел до черта! Поговорим о своих делах...

Но молодой задорный голос того, что говорил раньше, перебил:

– Нет, папаша! Чешские дела – наши дела... Сегодня Гитлер у них, завтра – у нас. Да у нас и самих этого добра уже до дьявола. Вот поэтому нужно посмотреть: есть на них хоть какая-нибудь управа или им только коврики раскладывать. – И поворачиваясь к Стилу: – Нет, механик, обязательно расскажи нам про это дело.

Но Стил не стал ничего рассказывать. Он повернул страницу газеты и громко прочел самоуверенную похвальбу нацистского правительства, которой звучала германская нота об учреждении протектората над Чехословакией. Сделав паузу, он еще раз отдельно и громко прочел ответ советского правительства, заканчивавшийся резким отказом признать притязания гитлеровцев:

«...Ввиду изложенного Советское правительство не может признать включение в состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме также Словакии, правомерным и отвечающим общепризнанным нормам международного права и справедливости и принципу самоопределения народов.

По мнению Советского правительства действия Германского правительства не только не устраняют какой-либо опасности всеобщему миру, а, наоборот, создали и усилили такую опасность, нарушили политическую устойчивость в Средней Европе, увеличили элементы еще ранее созданного в Европе состояния тревоги и нанесли новый удар чувству безопасности народов...»

Стил не спеша сложил газету.

– Вот и всё...

– Действительно толковый ответ, – ни к кому не обращаясь, задумчиво проговорил молодой фермер, но резкий голос перебил:

– А ты, механик, прочел бы нам ответ нашего, американского правительства...

Джойс, быстро оглянувшись на этот голос, узнал фермера Миллса. Это был небольшой коренастый человек с загорелым лицом, обросшим рыжеватою с проседью бородой, такую же круглой, как борода на портретах генерала Гранта.

– А ну, читай, – строго, почти угрожающе повторил Миллс, но молодой возразил:

– Хватит. Можно подумать, что мы его не знаем.

– Да у меня его и нет, – примирительно заметил Стил и хлопнул ладонью по газете: – Здесь он не напечатан...

Миллс вызывающе вздернул бороду. Все приняли это за сигнал к молчанию и ждали, пока он выбивал трубку о край ящика, на котором сидел Стил. Но Миллс так больше ничего и не сказал.

Тогда опять спросил молодой:

– Послушай-ка, Стил, а ты правду сказал нынче утром, будто сражался в Испании?

Стил молча показал парню на стоявшего у двери Джойса.

– Спроси у него, – сказал Стил.

– И ты? – негромко воскликнул парень. Джойс кивнул головой. – Какие вы ребята!.. – Парень помолчал, в восхищении поглядывая то на того, то на другого, потом сказал: – Говорят, будто англичане действительно заставили добровольцев из интернациональных бригад покинуть Испанию.

Стил утвердительно кивнул головой.

– Как же вы, ребята?.. – В голосе парня прозвучала такая досада, что, казалось, дай ему в руки винтовку, и он сейчас же поехал бы занять место этих двух. – Значит, там не осталось американцев?

– Никаких иностранцев на этой стороне... А на той – итальянцы и немцы, – пояснил Стил.

– Плохо... очень плохо, – сказал парень. – Нельзя было вам уезжать.

– Нельзя было не уехать, – возразил Стил. – Иначе дело грозило разгореться в такую войну...

– Все равно, пускай любая война, – горячо воскликнул парень, – но нельзя же было предавать испанцев! Знаешь, какие это ребята?

– Уж я-то знаю, – с усмешкой сказал Стил.

– А что же у них теперь?

– Теперь? – Стил помедлил с ответом... – Теперь вот так: у республиканцев сто тысяч бойцов, у Франко – триста; у республики – триста пушек, у Франко – три тысячи; танков пятьдесят против пяти сот; самолетов едва ли сотня против тысячи... Вот какие там дела.

– Нельзя так, нельзя! – повторял парень, стиснув голову кулаками.

Джойс проговорил:

– И среди сотен тысяч винтовок, среди трехсот орудий и среди самолетов Франко немало таких, на которых стоит клеймо: «Сделано в США»...

Эта фраза как бы поставила точку. Воцарилось долгое молчание.

Из потемок дальнего угла вышел на свет низкорослый чернявый человек, с лицом измятым, точно резиновый мяч, из которого выпустили воздух. С его коротких рук свисали непомерно длинные рукава комбинезона. Он протер глаза – большие темные глаза южанина, окруженные болезненной одутловатостью век. Не всякий, кто помнил день приезда певицы Тересы Сахары в окопы интернациональной бригады, узнал бы в этом желтом человеке веселого бойца-итальянца, вставшего к микрофону, когда фашистский снаряд заставил навсегда умолкнуть отважную испанку. Это был Антонио Спинелли – певец-антифашист, солдат и изгнанник.

Антонио приветливо кивнул Джойсу и вытащил из-за угла сарая банджо. Может быть, это было то самое банджо, что видело окопы Каса дель Кампо, что с боями прошло развалины Университетского городка; то самое банджо, звуки которого разносились над каменными хижинами Бриуэги, чьи струны пели победу под небом Гвадалахары и звучали у французской границы, заставляя грустно качать головами черноглазых сынов Сенегала... Быть может.

Антонио через головы сидящих протянул банджо Джойсу:

– Спой нам, Хамми...

Все обернулись к негру. А он, машинально беря инструмент, вглядывался в лица сидящих: «Кто?»

– «Джо Хилла», Хамми, – услышал Джойс и не спеша провел пальцами по струнам. А в голове занозою сидело: «Кто?»

Он пел почти машинально:

Вчера я видел странный сон:
Пришел ко мне Джо Хилл.
Как прежде, был веселый он,
Как прежде, полный сил...

Бас Джойса глухо звучал под дырявой крышей сарая. Он пропел последний куплет:

Джо Хилл ответил: «Слух пустой,

Нельзя меня убить.
В сердцах рабочих – я живой,
Я вечно буду жить!»

Наступила тишина. Она держалась долго. Слушатели вопросительно смотрели на певца. А он пристально вглядывался в их лица. Кто-то сказал:

– Спой нам еще, негр.

Джойс узнал голос Миллса. Обернулся и посмотрел ему в лицо. Несколько мгновений их скрещенные взгляды, словно сцепившись, не могли разойтись. Джойс отложил банджо и отрицательно покачал головой.

– Нужно спеть, – просто сказал Антонио и протянул руку к инструменту. – Гитара, конечно, удобней, но... я тоже научился играть на этом...

Он провел по струнам и простуженным тенором запел:

Гранаты рвали нас на куски,
Мы в руках винтовки сжимали.
Мы крепили своими телами Мадрид,
Мы Аргандский мост защищали...

Антонио еще пел, когда Миллс поднялся и, ни с кем не прощаясь, пошел к выходу. Джойс смотрел в его широкую спину, обтянутую кожей старой куртки, и думал: «Кто?»

Из едва светящихся в ночи ворот сарая в черную прохладную ночь вырвалась песня. Лучистые слова итальянского говора мягко стлались над свежераспаханной американской землей. Они летели вслед быстро шагавшему прочь коренастому человеку с круглой седеющей бородой, делавшей его похожим на генерала Гранта. В темноте едва заметно маячила вытертая добела спина кожаной куртки.

Джойс вышел на порог и посмотрел в непроглядную темень американской ночи: «Кто?»

Глава 11

Ванденгейм проснулся в дрянном отеле того маленького миссурийского городка, где он ночью сошел с поезда президента, пока меняли паровоз.

Некоторое время Джон лежал с открытыми глазами, стараясь собрать мысли. Он долго не мог понять, почему у него такое ощущение, словно кто-то перечил ему, раздражал его в течение всей ночи. Наконец понял, что это ощущение было вызвано неудовлетворенностью, которую оставило бесполезное свидание с президентом.

А может быть, Джон преувеличивает? Что-то из этого свидания все-таки получилось. Разве Рузвельт не предложил ему принять участие в создании военного флота?.. Отличное дело, черт возьми! Рузвельт сказал: «Тут вы найдете применение и железу, и нефти, и своим способностям». Строить нужно авианосцы – самое наступательное оружие Штатов. Кажется, так... Но, черт побери, Джон дорого дал бы за то, чтобы знать, какую цель преследовал Рузвельт, делая ему такое предложение. Не имел же он, в самом деле, в виду интересы Джона.

Джон позвонил с намерением заказать кофе, но вместо прислуги в комнату вошел Фостер Доллас.

– Уже? – удивленно спросил Джон.

– Получив вашу телеграмму, достал самолет, – сказал Фостер таким тоном, словно хозяин позвал его в соседнюю комнату, а не вытащил из постели среди ночи и заставил совершить перелет из Улиссвилля.

Фостер вопросительно уставился на Джона, но тот был занят разглядыванием собственной челюсти, вынутой из стакана, стоявшего на ночном столике.

– Выкиньте к черту эту древность, Джон, – пренебрежительно проговорил Фостер. – Теперь делают замечательные штуки, которых не замечаешь во рту. – И, словно в доказательство, Фостер оскалил два ряда белых зубов. Даже постучал по ним ногтем, чтобы подчеркнуть их великолепие и прочность.

Но Джон не повел в его сторону глазом и мрачно проговорил:

– Даже каторжник, говорят, привыкает к своим кандалам... Я уж как-нибудь доживу свой век с этой штукой... – Отерев рукавом пижамы зажатый в пальцах ряд искусственных желтых зубов, похожих на волчьи клыки, Джон ловко заправил их в рот.

Эта операция на минуту поглотила внимание Долласа. Потом, хлопнув себя по лбу, он сказал:

– Внизу же вас ждет сенатор Фрумэн...

– Что ему нужно?

– Он... прилетел со мной... – стараясь выдержать небрежность тона, как если бы такой приезд сенатора был чем-то само собою разумеющимся, сказал Доллас.

– Пошлите его к черту! – отрезал Джон.

– Он хочет вас видеть, – увещающе произнес Доллас.

– Меня здесь нет.

– Но я уже сказал, что вы тут.

– Вы ошиблись.

– Джон!

Ванденгейм привстал в постели и посмотрел на Долласа вытаращенными глазами:

– Тогда идите и целуйтесь с этим пендергастовским ублюдком, поняли?.. Мне с ним говорить не о чем... – И Джон решительно махнул рукой, отсылая Фостера. – К черту и вас вместе с вашим Фрумэном.

Но Долласа, видимо, несколько не обескураживало обращение шефа. Он нетерпеливо выждал, пока Ванденгейм снова уляжется, и сказал тоном величайшей конфиденциальности:

– Говорят... – и тут же умолк.

Несколько мгновений Джон ждал продолжения, потом нехотя буркнул:

– Ну ладно, выкладывайте, что еще говорят?

– Говорят, Фрумэн будет иметь прямое отношение к военной промышленности...

– Глупости! – решительно заявил Ванденгейм. – За душой у него нет и сотой доли того, что нужно, чтобы играть там хоть какую-нибудь роль... Разве только он займется изготовлением детских ружей под елку.

– Вы не так меня поняли, Джон, – виновато произнес Доллас: – Фрумэн будет иметь отношение к сенатской комиссии по проверке деятельности военных промышленников. Знаете... – он повертел пальцами в воздухе. – В связи с этой историей о злоупотреблениях при поставках на армию... Может быть, даже президент сделает Фрумэна председателем этой комиссии...

– Рузвельт назначит Фрумэна?

– А что ж тут такого?

– Вы, как всегда, все выдумали? – И Ванденгейм уставился на своего поверенного так, что тот съёжился.

– Убей меня бог, – проговорил Доллас, – мне говорил это сам Леги.

На этот раз Ванденгейм так стремительно поднялся в постели, словно помолодел на сорок лет. В один миг сброшенная пижама полетела в угол через голову Долласа.

– Какого черта вы никогда не говорите всего сразу? – сердито кричал Ванденгейм. – Военная промышленность – как раз та область, в которой нам недостает своего сенатора!

– Леги говорит, что Фрумэна выдвигает сам президент...

При этих словах пальцы Ванденгейма, возившиеся с завязками пижамных штанов, вдруг замерли, потом рванули шнурок так, что он лопнул. Джон свистнул, как обыкновенный бродяга.

– Нужно разобраться в этом вашем Фрумэне... Он может оказаться попросту шпиком Рузвельта. Мне уже не раз подбрасывали молодцов, чтобы сунуть нос в дела, куда я никогда никого не пускал и пускать не намерен... Тащите сюда этого парня, а сами – к телефону! Звоните Джеймсу Пендергасту: пусть скажет, в какой мере можно доверять этому сенатору, черт бы его драл!.. В общем, конечно, это правильная идея: во главе сенатской комиссии должен стоять наш парень... – И вдруг, воззрившись на Долласа, свирепо рявкнул: – Где же ваш Фрумэн? Может быть, вы боитесь нарушить его утренний завтрак? Так скажите этой дохлой сове, что теперь не до завтраков: скоро Европа потребует от нас столько оружия, сколько мы не производили никогда. Слышите, Фосс: никогда... По ту сторону океана предстоит переломать кости несколькими десятками миллионов человек! Этого не сделаешь голыми руками!

Лицо Фостера приняло плотоядное выражение. Адвокат потер вспотевшие руки.

– Ничего необычайного, Джонни. На бойнях в Чикаго такая цифра не испугала бы никого...

Одно мгновение Джон смотрел на него, переваривая смысл сказанного. Потом с безразличностью посторонился.

– Вы тупое животное, Фосс... Настоящее животное, – проговорил он. – Люди не быки. Их нельзя миллионами загонять под нож мясника. Тут нужны более совершенные, более дорогие и, к счастью, более прибыльные средства уничтожения. Нужна большая техника, Фосс. Да, да, самая совершенная техника, потому что люди сопротивляются, когда их гонят на убой. Они не хотят умирать, они сами стараются убивать тех, кого мы посылаем для их уничтожения. В этом есть, разумеется, и своя хорошая сторона, Фосс.

– Америка, к сожалению, еще ни с кем не воюет...

– Не воюет, так будет воевать, – решительно отрезал Джон. – Рано или поздно это придет. Должно прийти по логике вещей. Если мы не ввяжемся в то, что уже началось в Европе, то непременно столкнемся с Японией. – Он потер лоб, чтобы поймать ускользнувшую было

мысль. – Я хотел сказать, что в обоих случаях понадобится гигантская техника уничтожения. Мы предоставим ее всякому, кто хочет заняться уничтожением друг друга. Какой-то советский дипломат, тот, что говорил на всех этих конференциях в Лиге Наций, изобрел формулу «неделимости мира». Я противопоставляю ей свою формулу – «неделимость войны». Где бы ни шла война, Фосс, – это наша война. Где бы ни уничтожали лишние рты – пулеметы работают на нас. Не только потому, что в большинстве случаев это наши пулеметы, за которые нам заплачено золотом, а и потому, что каждый уничтоженный человек – это списанный со счетов потенциальный протестант против существующего порядка. Будь то индеец или негр, испанец или китаец – все равно: революция – везде революция. Ее отблески не могут быть не видны американцам. А им нужно предоставлять совсем другие зрелища. Покажите им девченок, задирающих ноги. Вот что им нужно для успокоения волнений. Туда и направьте поток их темперамента.

Фостер умоляюще сложил руки:

– Джонни, вас ждет сенатор!

– Пусть ждет, – огрызнулся Ванденгейм. – Не он дает нам жизнь, а мы ему. Завтра я заплачу Пендергасту на сто тысяч больше, и он перестанет быть «потомственным демократом». Вместо Фрумэна Джеймс пошлет в сенат того, кто нужен мне... Я говорю вам о деле, Фосс, а вы перебиваете меня всякими пустяками. – Джон сердито сморщился. – Вот и сбили с мысли. Черт с ним!.. В общем, вы должны понять, наше внимание должно быть теперь направлено на военную промышленность. Пусть это будет судостроение для Штатов. Не возражаю. Я готов принять в этом участие, если мне обещают настоящий бизнес. Но Европе нужны теперь не корабли. Запомните, Фосс: Европе нужны не корабли! Мы должны дать ей все виды оружия, каких она потребует. Все равно, кто: немцы или французы, испанцы или турки – давайте им оружие в любом количестве. Нужно подготовить их к драке так, чтобы, раз начавшись, она не затухла уже, пока не перебьют половину людей в этой гнилой дыре – Европе...

– Слава Господу, генерал Франко успешно... – начал было Доллас, но Ванденгейм отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и продолжал:

– Если пожар затихает, в него льют керосин.

– При условии, что дом хорошо застрахован... – усмехнулся Доллас.

– Наше дело застраховано, как никакое другое. Кто бы ни взял там верх, в выигрыше будем мы. А что касается вашего Франко, то он просто вонючий клоп!.. Годами копается там, где следовало все покончить в два месяца. А вы заставили меня открыть кредит его комиссионерам. Еще одна ошибка вам на счет.

– Этот кредит будет оплачен с хорошими процентами, Джон. – Фостер выпрямился и даже гордо выпятил петушину грудь.

– Он банкрот! – крикнул Ванденгейм. – Если англичане не дадут ему денег, он полный банкрот.

– Мы получим с него натурой. Мы получим недра Испании, ее промышленность... – торопливо забормотал Доллас.

Ванденгейм подошел к столу и быстро набросал несколько слов в блокноте, чтобы не забыть телеграфировать Маргрет Крейфильд: необходимо было серьезно нажать на этого дурака, ее мужа, чтобы поскорее кончали с Испанией. И в Париж Боннэ: пусть приканчивают республику за Пиренеями... Но это вовсе не значит, что наступит мир и дела военной промышленности не пойдут. Об этом должен позаботиться любой кандидат в президенты, когда подходит срок новых выборов... Посмотрим, посмотрим, на кого мы поставим миллионы долларов...

Макарчер очень понравился Джону. Если бы все, кого воспитывают в Вест-Пойнте, выходили с такими кулаками, то можно было бы сказать, что тамошние профессора недаром жрут хлеб. И планы у этого парня настоящие: Китай – цель, ради которой стоит немного повозиться.

Кто-кто, а уж Джон-то знает, сколько военных материалов поглощает война с таким народом. В прошлом году из двухсот пятидесяти миллионов долларов экспорта в Японию добрая половина попала ему в карман за военные материалы, проданные Хирохито.

Тридцать девятый год обещает быть не хуже. А если новая компания для скупки стального лома будет хорошо работать, то Джон отправит джапам еще и этого хлама миллионов на сорок. Однако помогать только джапам было бы неумно. Предоставленный собственным силам, Чан Кай-ши мог бы быстро капитулировать. Тогда прощай, длинная война, прощай, экспорт военных материалов на Дальний Восток, прощай, жирный бизнес. При умелом ведении дела американцы всегда смогут регулировать ход японской войны в Китае. Для этого в их руках две гири: нефть и металл. Перекладывая их с японской чаши весов на китайскую, можно держать стрелку в должном положении... И вышибить к дьяволу этих самодовольных тупиц – англичан! Ах, господи, если бы у всех были такие головы, как у этого Макаρχера...

Тут Ванденгейм, казалось, забыл обо всем окружающем: и о том, что разгуливает перед Долласом в одних трусах, трясая обвисшими складками волосатых ног, и о том, что где-то за дверью с нетерпением топчется сенатор Фрумэн, и о том, что он сам только что, и уже не один раз, давал Фостеру приказание ввести этого Фрумэна. Мысли Джона летели вслед кораблям, которые будут построены на его верфях. Они поплывут по водам Тихого, а может быть, и не только Тихого океана. Их трюмы будут набиты хорошо вышколенными парнями Макаρχера... Рузвельт говорил: Филиппины!.. Разве в одних Филиппинах дело? Разве Филиппины не больше, чем кусочек твердой земли, в которую Дядя Сэм может упереться ногой, чтобы покрепче ухватить за горло Джона Буля?

В голове Джона быстрой чередой проходили мысли, которые казались ему философскими. Он думал о том, что при желании большая часть тех планов, которые рождались у него в связи с разговорами Рузвельта и Макаρχера и которые, если выражаться высоким стилем, можно было назвать планами завоевания мира, были чертовски заманчивыми. Надо бы заставить так называемых ученых хорошенько подумать над способами бесшумного и невидимого вторжения на любую территорию, в пределы любого государства. Разве нельзя было бы, скажем, напустить на японцев холеру или что-нибудь в этом роде в таких масштабах, чтобы они перемерли там в один-два года?.. Наверно, можно... Или отравить воздух во всем Китае?.. Или, наконец, запустить хорошую чуму в Россию? Наверно, это возможно... Да, но какой толк был бы в такого рода победе? Прежде всего, набили бы себе карман какие-нибудь немецкие компании – немцы мастаки по изготовлению подобных штук. А ему, Джону, и вообще американцам достались бы пустыни, зараженные всякой нечистью, с горами трупов... А если поставить необходимую промышленность у себя, скажем, тут, в Штатах, производить холерную бациллу в надлежащих масштабах?.. Пожалуй, это тоже не дало бы большого эффекта. Наверняка настолько дешевое дело, что на нем не сделаешь бизнеса... Нужно будет поговорить об этом со специалистами... Непременно нужно поговорить...

Мысли Джона вернулись к сегодняшнему дню. В конце концов, дела идут не так уж плохо. Если Франко оказался не факелом, сунутым в пороховую бочку Европы, а головешкой, тлеющей в луже крови, то Геринг был дельцом похлеще. Толстяк полностью выполнил свои обязательства – не дал ефрейтору остановиться на пороге Чехии. Нужно, чтобы «наци № 2» и теперь не дал барабанщику остыть. Гитлер не должен остановиться. На восток, на восток! С грохотом и с музыкой, с битьем посуды – на восток!..

Совершенно неожиданно для Далласа Ванденгейм весело воскликнул:

– Для такого бизнеса нам понадобятся не только свои сенаторы. Придется подумать о своем президенте, вполне своем парне. Что это вы уставились на меня, как на жирафа? Так оно и будет: свой президент! Не знаю, кто: Рузвельт или кто-нибудь другой... Но обязательно отличная голова! Президент, а не какой-нибудь паршивый сенатор. Кстати, о сенаторах... Где же ваш?..

– Фрумэн, – подсказал Доллас и повторил: – Его зовут Гарри Фрумэн!

Игривым пинком ниже спины Джон выставил адвоката из комнаты. Через несколько минут раздался осторожный стук в дверь. Ванденгейм сделал вид, будто не слышит его, а может быть, и действительно не слышал, занятый завязыванием галстука. Прошло несколько секунд. Стук повторился чуть-чуть более настойчиво. Ванденгейм прорычал что-то нечленораздельное.

Это было больше похоже на неприветливое ворчание ленивого пса, нежели на приглашение. Но дверь порывисто отворилась, и в комнату стремительно вошел сухопарый человек среднего роста. У него было старообразное лицо совы. Особенность этого лица заключалась в том, что каждая из его черт в отдельности могла показаться самой заметной, главенствующей, а все лицо в целом, наоборот, производило впечатление необыкновенно мелкое, ординарное. Нос был большой, горбатый, с крупными крыльями и сильно открытыми ноздрями. Рот необычайно широкий, поражающий асимметричностью губ. В то время как верхняя губа была очень тонкой, нижняя брюзгливо отвисала. А вместе они производили впечатление рта злобной старой девы. Широко расставленные маленькие глазки проныры были окружены частой сеткой тонких морщин, происходивших от чересчур частых, хотя и тщетных попыток придать лицу выражение приветливости. Вот и теперь эти глазки были сощурены и как будто радостно блестели, хотя, вопреки им, все лицо выражало только хитрую угодливость. Синий галстук с большими красными горошинами был повязан аккуратной бабочкой. Яркий костюм в крупную елку был тщательно разутюжен – будто прямо с магазинной витрины. Все придавало вошедшему сходство с коммивояжером средней руки. В каждом его движении, нервозно-быстром, сквозило желание придать своему появлению вид независимости. Но сумрачный взгляд Ванденгейма приковал его к порогу и заставил сделать несколько растерянно-суетливых движений без всякой цели. Наконец из-за спины гостя появилась рыжая голова Долласа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.